
ОЛЕГ ПАЛЕК
ОБЩАЯ ВЕРСИЯ

Олег Палёк

Общая версия

«Автор»
2026

Палёк О. А.

Общая версия / О. А. Палёк — «Автор», 2026

Октябрь 2007 года. Девять человек просыпаются в черных робах на нарах закрытой колонии на острове в Белом море. Сенатор, генерал, судья, бывший банкир, адвокат, главбух, бизнесмен с женой и бывший водитель. Десять лет назад они отправили за решетку Виктора Бурова, хозяина нефтяного терминала, который отказался его продать. Голос из динамика ставит условие: одна общая версия того, как все было в девяносто седьмом, подписанная всеми девятерыми. Тогда придет катер.В клубе лежат девять папок, и в каждой есть страница, которая не сходится. Склад пустеет, на вышках стоят чучела, а первый, кто отказался подписывать, уходит на плоте в шторм. Тот, кто все это устроил, оказывается рядом, и вскоре он уже не хозяин острова, а пленник своих пленников. Чем больше они узнают друг о друге, тем меньше им нужна правда, которой он добивается.Что делать с правдой, если она никому не нужна - даже тому, кто ее требовал?

© Палёк О. А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Annotation 5
Конец ознакомительного фрагмента. 35

О. Палёк
Общая версия

Annotation

Октябрь 2007 года. Девять человек просыпаются в черных робах на нарах закрытой колонии на острове в Белом море. Сенатор, генерал, судья, бывший банкир, адвокат, главбух, бизнесмен с женой и бывший водитель. Десять лет назад они отправили за решетку Виктора Бурова, хозяина нефтяного терминала, который отказался его продать. Голос из динамика ставит условие: одна общая версия того, как все было в девяносто седьмом, подписанная всеми девятерыми. Тогда придет катер.

В клубе лежат девять папок, и в каждой есть страница, которая не сходится. Склад пустеет, на вышках стоят чучела, а первый, кто отказался подписывать, уходит на плоте в шторм. Тот, кто все это устроил, оказывается рядом, и вскоре он уже не хозяин острова, а пленник своих пленников. Чем больше они узнают друг о друге, тем меньше им нужна правда, которой он добивается.

Что делать с правдой, если она никому не нужна, даже тому, кто ее требовал?

Олег Палек
Глава 1 Подъем
Глава 2 Пульт
Глава 3 Барак
Глава 4 Очная ставка
Глава 5 Илюха
Глава 6 Опись
Глава 7 Этап
Глава 8 Муляж
Глава 9 Плот
Глава 10 Свидание
Глава 11 Аккумулятор
Глава 12 Предупреждение
Глава 13 Путанка
Глава 14 ШИЗО
Глава 15 Суд над судьей
Глава 16 Сын
Глава 17 Двадцатое марта
Глава 18 Подпись
Глава 19 Бур
Глава 20 Конверт
Глава 21 Мидии
Глава 22 Обреченный
Глава 23 Тюрьма вместо могилы
Глава 24 Кипр
Глава 25 Авторитет
Глава 26 Вертолет
Глава 27 Общая версия
Глава 28 Протокол

Глава 29 Приговор
Глава 30 Ты сам этого хотел

Олег Палек

Общая версия

Глава 1 Подъем

Первым вернулся холод. Он пришел раньше мыслей и раньше света, поднялся от досок под спиной и устроился между лопатками. Николай Зубарев еще с закрытыми глазами понял, что лежит далеко от дома. Под ним было что-то жесткое и давно не топленное. Голова гудела ровно и тупо, как трансформаторная будка под нагрузкой. Во рту стоял железный привкус, язык казался распухшим и чужим. Этот набор Зуб узнал прежде, чем открыл глаза: так бывает, когда тебе что-то вкололи люди, знающие дозировку.

Он полежал еще с минуту, не шевелясь и не меняя дыхания. За двадцать с лишним лет службы Зуб усвоил простое правило: кто проснулся и не спешит это показывать, знает чуть больше остальных. Над ним, на расстоянии вытянутой руки, темнели доски второго яруса. На крайней кто-то вырезал ножом слово из трех букв, его потом пытались соскоблить, да так и бросили. Пахло сыростью, угольной пылью и кислым казенным духом, который въедается в стены годами. Где-то за стеной ровно, без передышки шумело море.

Зуб сел, и нары отозвались коротким скрипом. На нем была черная хлопчатобумажная роба, сидевшая мешком, на ногах — растоптанные ботинки без шнурков. На груди слева белела нашитая бирка, и он прочел ее, скосив глаза: «Зубарев Н.». Ни отряда, ни номера на бирке не значилось. Он провел ладонями по карманам, заранее зная, что там пусто. Ни телефона, ни бумажника, ни удостоверения в кожаной корочке, ни даже носового платка. Подбородок кололся двухдневной щетиной. Зуб отметил это спокойно, как отметил бы в протоколе время задержания.

«Шнурки вынули, — подумал он, — значит, порядок здесь знают не понаслышке». Начальник областного управления исполнения наказаний проснулся на нарах, в робе и казенных ботинках. В другой раз Зуб, пожалуй, оценил бы шутку, если бы знал, кто ее придумал.

Чтобы понять, где он, Зубу хватило минуты, и даже вставать для этого не понадобилось. Длинное помещение с двумя рядами двухъярусных нар, проход посередине, у торцевой стены печь-голландка, облупленная до кирпича. Над тамбуром висел серый ящик громкоговорителя. Его решетку красили столько раз, что дырочки почти заплыли. Между окнами висел щит с выцветшим распорядком дня. Таких бараков Зуб видел сотни, а актов о них подписал столько, что и не упомнить. Но этот показался ему знакомым.

Он поднялся и бесшумно прошел к окну. Встал у стены сбоку, чтобы его не было видно снаружи. Сквозь мутное стекло и решетку открывался серый двор. За ним тянулся двойной ряд спирали Бруно, и между рядами лежала путанка. Дальше шли мокрые камни и низкое море, сливавшееся с таким же низким небом. Справа над крышей соседнего барака торчала ржавая водонапорная башня с проломленным баком. По этой башне Зуб окончательно понял, куда его привезли. Четыре года назад он приезжал сюда с комиссией; решали, что делать с закрытой колонией, и так ничего и не решили. ИК-17, остров Большая Луда: несколько часов на катере в хорошую погоду и сколько угодно в плохую.

Он начал неторопливо думать, как делал всегда, входя туда, где могли начаться неприятности. Выход из барака один, через тамбур. Окон по шесть на каждую сторону, решетки вварены на совесть, о них можно забыть. Проволока идет в два ряда, и через путанку между ними ночью не пройдет никто. Днем пройдет тот, кому не жалко ни робы, ни собственной кожи.

Из окна были видны две вышки на углах периметра, обе с дощатыми будками наверху. Есть ли там кто-нибудь, разглядеть мешали грязное стекло и тусклый свет. Людей на нарах, кроме него, было восемь. Восемь неподвижных бугров под одинаковыми серыми одеялами, и один уже начинал шевелиться.

Первым сел Белоусов, и Зуб узнал его сразу. В робе сенатор выглядел как всякий, с кого сняли хороший костюм: старше, мельче, растеряннее. Растерянность, впрочем, продержалась на его лице недолго. Белоусов огляделся, увидел нары, решетки и Зуба у окна. Еще не вполне понимая, где находится, он заговорил тем голосом, каким привык открывать совещания.

— Так, — произнес он, обращаясь сразу ко всем и ни к кому в отдельности. — Кто здесь старший? Я хочу видеть ответственного, немедленно, пока эта самодеятельность не обернулась для кого-то серьезными последствиями.

С соседних нар тяжело поднялся крупный мужчина с седеющим ежиком. Он сразу шагнул к Белоусову и заслонил его от прохода, от окна и от Зуба. Привычка срабатывала у него раньше головы. Юрий Мохов, Мох, в девяносто седьмом возил Бурова и его деньги. Теперь, как знал Зуб, он охранял Белоусова. Вот и сейчас он встал между хозяином и миром, не проверив, есть ли в мире что-нибудь опасное.

— Здорово, Мох, — сказал Зуб негромко, тем будничным тоном, каким здороваются в коридоре управления. — Тебя-то каким ветром сюда занесло?

— На рыбалку ехали. — Мох потер затылок и глянул на Зуба исподлобья, как на тучу, которая ничего хорошего не обещает. — На катер сели, по рюмке выпили, а дальше как отрезало.

Зуб кивнул, не спуская с него глаз. Врать Мох не умел никогда. Это было единственное, в чем Зуб за все годы ни разу в нем не усомнился.

Дальше люди просыпались один за другим. Зуб отмечал каждого, как лица на опознании. У дальней стены почти одновременно сели мужчина и женщина. Они увидели друг друга и замерли с одинаковым выражением. Зуб встречал его десятки раз и мог бы описать в рапорте одним словом. Геннадий Сазонов, депутат областного собрания, располнел, но на мягком лице даже теперь читалась готовность договориться. На жену он смотрел так, словно никак не ожидал встретить ее здесь.

— Марина? — Сазонов привстал, запутался в одеяле и сел обратно. — А ты что здесь делаешь? Ты же к матери поехала, ты мне сама во вторник сказала, что едешь к матери...

— А ты на переговорах в Москве, — ответила Марина ровно, без вопроса в голосе, и стала зачем-то поправлять волосы. — Ты мне во вторник тоже кое-что сказал, Гена.

«Значит, ехали врозь, — подумал Зуб, — и каждый соврал другому о своем». Марину он помнил по девяносто седьмому другой, моложе и злее. Тогда она еще звалась Буровой и приходила в дорогой шубе давать показания против мужа. Теперь ей было, по его прикидке, под сорок. Держалась она куда лучше нынешнего мужа, который все не мог выпутаться из одеяла.

Тамара Павловна Кислицына, бывший главбух Бурова, а ныне финансовый директор в холдинге, проснулась тихо. Первым делом она задала вопрос, который Зуб уже успел задать себе сам.

— Какое сегодня число, кто-нибудь знает? Я выехала семнадцатого, вечерним поездом, а сколько прошло с тех пор, понять не могу, и мне это, знаете ли, не нравится.

— Девятнадцатое, — ответил Зуб, проведя ладонью по щеке. — Плюс-минус сутки, если меня тут никто не догадался побрить.

Тамара Павловна поблагодарила его старомодным кивком и беззвучно зашевелила губами, что-то про себя прикидывая.

Эдуард Липкин, в девяносто седьмом следователь по делу Бурова, а теперь адвокат, бравший за час больше тогдашнего месячного жалованья, сел, оглядел всех по очереди и, кажется, раньше других понял, что их объединяет.

— Коллеги, давайте прежде всего зафиксируем ситуацию, — сказал он почти уверенно. — Все мы удерживаемся здесь незаконно, без каких-либо процессуальных оснований, и это само по себе дает нам...

— Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, — сухо перебила его пожилая женщина, сидевшая очень прямо, закутавшись в одеяло до подбородка. — Сто двадцать шестая, часть вторая. Это вы, Липкин, и без меня прекрасно знаете.

Лицо Людмилы Аркадьевны Решетниковой, давшей Бурову в девяносто седьмом десять лет, максимум по его статье, постарело почти до неузнаваемости, и судью выдала только манера выносить формулировку даже о погоде.

Последним проснулся Ткач. Он долго лежал, глядя в доски над собой, потом сел. Зуб не сразу узнал в опухшем человеке с желтоватыми белками Аркадия Ткача. Руки у Ткача мелко дрожали, и он прятал их под одеяло, а на висках у него, несмотря на холод, блестел пот. В девяносто седьмом у его банка брала кредиты половина области. Через год он разорился так основательно, что о нем перестали вспоминать даже как о покойнике.

— Ну надо же, — сказал Ткач хрипло, обведя барак мутным взглядом и задержав его на Белоусове. — Вся честная компания в сборе. А я, грешным делом, думал, что это за мной одним наконец пришли, и даже немного обрадовался.

Зуб еще раз прошелся по ним взглядом, теперь уже по фамилиям, и все сошлось. Девять человек, и все девять в девяносто седьмом стояли вокруг одного дела. Вернее, вокруг одного человека, которого среди них не было. Кто-то его сдал, кто-то сажал, кто-то судил. У каждого с тех пор была своя версия того, как все случилось. Зуб не сомневался, что каждый давно выучил ее наизусть и успел в нее поверить. Про Бурова он подумал раньше, чем про всех остальных, и так же сразу отложил эту мысль. Бур вышел в этом году, отсидев свое от звонка до звонка. По долгу службы Зуб узнавал о таких вещах раньше родственников. Ему доложили, что сразу после освобождения Бур улетел за границу и возвращаться не собирался. Да и не потянул бы человек, только что вышедший с зоны, такую операцию. Тут нужны были катер, уколы, люди и целый остров в придачу.

Громкоговоритель над дверью ожил без предупреждения. Сначала в нем щелкнуло, потом пошел сухой треск. Сквозь треск, далеко и глухо, прорезался мужской голос. Барак замолчал разом, даже Белоусов, собиравшийся что-то сказать Липкину. Все повернули головы к серому ящику над дверью. «Точно так же, — подумал Зуб, — поворачивали их здешние сидельцы, по многу раз на дню».

— Граждане осужденные, подъем. — Голос утонул в шорохе и вернулся, уже разборчивее. — Вы находитесь в исправительной колонии номер семнадцать, на острове, и сколько вы здесь пробудете, зависит теперь только от вас.

Белоусов открыл было рот, но голос не делал пауз для ответа.

— В клубе на столе лежат папки, по одной на каждого. Там весь девяносто седьмой год, с бумагами и подписями, вашими тоже... — Треск съел несколько слов, и голос вернулся на середине фразы: — ...одну общую версию на всех девятерых, как оно было на самом деле, и каждый под ней распишется. Совпадет ваша версия с тем, что в папках, — придет катер и заберет всех. Не совпадет — будете писать дальше.

Динамик захрипел и замолчал на несколько секунд, потом голос вернулся.

— Вода в кране есть, уголь в котельной есть, все остальное, граждане осужденные, придется заработать. Отбой в двадцать два ноль-ноль.

— С кем я говорю? — Белоусов шагнул к двери и поднял лицо к ящику, как к трибуне, с которой кто-то позволил себе лишнее. — Вы отдаете себе отчет, кого вы здесь держите? Назовитесь!

Селектор щелкнул и умолк, и в тишине снова стало слышно море. Зуб стоял неподвижно и перебирал услышанное, как когда-то показания, по словечку и по паузе. Голос был мужской, немолодой, хриплый. Аппаратура перемалывала его так, что Зуб не поручился бы ни за тембр, ни за возраст. Он не поручился бы даже за то, что говорил живой человек, а не магнитофон. Зато словарь выдавал говорившего с головой. «Граждане осужденные», «подъем», «отбой в двадцать два ноль-ноль» — так говорят те, кто знает зону изнутри. С той стороны решетки или с этой, но уж точно не по кино.

«Сидел или сажал, — подумал Зуб. — Третьего здесь не бывает, и это уже кое-что».

— Давайте без паники, все мы взрослые люди, — заговорил Сазонов, торопливо и слишком громко, перебегая взглядом с лица на лицо. — Это обыкновенный шантаж, а с шантажистами всегда можно договориться, нужно только конструктивно понять, чего они хотят.

— Они тебе только что сказали, чего хотят, Гена, — заметил Ткач, не поднимаясь с нар. — Правды они хотят. А это, боюсь, обойдется дороже, чем ты привык платить.

Договориться попробовали тут же. Липкин встал под серым ящиком и предложил обсудить условия и гарантии, Сазонов попросил назвать сумму, Белоусов требовал назваться. Динамик помолчал, потом щелкнул, и голос повторил слово в слово: одна общая версия на всех девятерых, и каждый под ней распишется. Больше он не ответил никому. Белоусов до обеда возвращался к двери и кричал в решетку, пока не охрип.

Дверь барака, к общему удивлению, оказалась не заперта. Снаружи ударил ветер с моря, мокрый и злой, и сразу пробил тонкие робы насквозь. Дорожка, обнесенная сеткой, вела от барака к приземистому клубу с облезлой надписью над входом. Калитка в сетке стояла открытой. Все остальные калитки были закрыты на навесные замки, новые, без ржавчины. Кто бы ни готовил остров, он заранее решил, где им ходить. Зуб решил проверить, насколько далеко.

В клуб он не пошел и другим сказал не ходить: бумаги подождут, сначала надо понять, где они. Обыск он устроил, как когда-то на выезде, раздав каждому по углу. К полудню картина сложилась, и ни одна ее часть Зубу не понравилась. Телефонов не было нигде, даже в дежурке у вахты, куда удалось заглянуть через разбитое окно. В административном корпусе провода из щита были срезаны под корень, аккуратно, кусачками. Двери в администрацию стояли железные и запертые. За первым рядом проволоки шел второй, а между ними путанка.

Липкин сунулся к сетке у вахты, где колючка шла пониже, и решил, что пролезет. Зуб услышал его крик с другого конца двора. Липкин стоял на коленях и держал перед собой разрезанные ладони, и кровь капала с них на мокрый бетон. Тамара Павловна оторвала полосу от подола робы и молча перевязала ему руки. Весь остальной день Липкин держал их на весу, как хирург перед операцией.

Около полудня Зуб послал Моха на водонапорную башню. Сам не полез: того, кто стоит на башне, видно со всего острова, а ему пока лучше было смотреть, чем показываться. Мох лез долго, наверху прижался к перилам и не шевелился. Спустился он бледный и доложил, как докладывал всегда, коротко и не совсем о том. Катер есть, у дальнего причала, за мысом, большой. На вышках стоят по одному, в бушлатах, и не шевелятся. На вопрос, сколько вышек, Мох сказал, что четыре, а людей видел на двух, дальше туман. Какой катер, он толком не разглядел: белый, а может, серый. Зуб запомнил это так, как запоминают показания свидетеля, которому не очень веришь, но других нет.

Потом нашли воду. Кран в умывальнике при бане долго хрипел и пустил тонкую ржавую струйку с привкусом железа. Тамара Павловна сказала, что пить ее можно. Склад нашелся у котельной, кирпичный сарай без окон, с новым смазанным амбарным замком на двери. В

котельной уголь лежал горой, а котел стоял мертвый. Сазонов сунулся в топку и вылез черный до локтя и ни с чем.

В клуб пришли последними, когда идти стало больше некуда. Клуб оказался длинным холодным залом с рядами скамеек. Над сценой висел выцветший кумач без единой буквы, у сцены стоял стол, а на столе лежали девять серых картонных папок с завязками и фамилиями. Свою Зуб нашел третьей слева и, прежде чем открыть, взвесил на ладони. Его папка оказалась потоньше прочих, а самая пухлая лежала под фамилией Кислицыной.

Первая страница у всех была одинаковой. Зуб понял это по тишине, разом упавшей на зал. С листа смотрела черно-белая фотография крепкого пожилого мужчины в форменной фуражке. Его сняли на фоне портовых кранов: он щурился на солнце и чему-то усмехался в усы. Под фотографией стояла подпись, отпечатанная на машинке: «Гуляев Василий Петрович, начальник морского порта». Больше на странице не было ничего, ни дат, ни обстоятельств. Ни слова о том, что случилось с Петровичем в девяносто седьмом. От этой пустоты подпись читалась страшнее любого протокола. Зуб смотрел на фотографию ровно столько, сколько нужно, чтобы ее запомнить. Петровича он знал, как в те годы знал всякого, кто хоть что-то значил в порту. Помнил, как того вылавливали из воды у причала. Помнил и заключение, где все было изложено правильными словами. Дальше думать он не стал. Эту мысль он обходил давно и привычно, как обходят на знакомой улице открытый люк.

Остальные справлялись кто как мог. Белоусов закрыл папку и положил ее лицом вниз. Липкин держал свою папку забинтованными ладонями и дальше первой страницы не листал. Тамара Павловна, оставшаяся без очков, держала страницу на вытянутой руке и щурилась. Марина смотрела поверх папки на мужа. Мох читал медленно, шевеля губами, и никак не мог расстаться с первой страницей. Глядя на его крупные пальцы, придавившие край фотографии, Зуб вспомнил звонок.

Звонок раздался в понедельник, ближе к вечеру, когда Зуб уже собирался уезжать из управления. Звонили на личный мобильный, номер которого знали человек двадцать, не больше. Номер звонившего не определился. Спокойный мужской голос без всякого выражения сообщил, что Юрий Мохов собирается дать показания по делу Гуляева. Подробности обещали при встрече в Архангельске, в среду вечером, в кафе при морском вокзале. Зуб спросил, с кем имеет честь, но в трубке уже шли короткие гудки.

Он не стал спрашивать себя, что именно Мох может рассказать о Петровиче. Он спросил о другом: кому понадобилось, чтобы Мох заговорил сейчас, через десять лет? И почему с этим позвонили ему, минуя прокурора? Ответа он не нашел ни в тот вечер, ни на следующий день. Позвонить Моху напрямую он не мог: такой звонок сам по себе был бы показанием. А спросить кого-то еще значило признать, что ему есть чего опасаться.

В среду он пришел в кафе один, без водителя и охраны. Заместителю сказал, что берет пару дней отгулов, хочет порыбачить — первое, что пришло в голову. Только здесь, в промерзшем клубе, он сообразил, что соврал теми же словами, какими обманули Белоусова с Мохом. Час он просидел над остывшим чаем, глядя на дверь, но никто так и не подошел. Когда он вышел к машине, оставленной в темном углу стоянки, сзади хлопнула дверца соседнего фургона. Последним он запомнил сладковатый химический запах. И еще чью-то руку, умело прижавшую его голову к мокрому капоту.

Когда Зуб снова поднял глаза, Мох все еще стоял над своей папкой и так и не перевернул страницу. Белоусов, державший папку лицом вниз, первым сказал, что читать они сейчас ничего не будут. Человека его положения уже ищут, к вечеру или завтра здесь будут люди, и все это станет делом прокуратуры. Зуб сказал от двери, что сначала вода и тепло, а бумаги

не убегут. С ним согласились сразу и с облегчением: читать что-то в нынешнем положении не хотелось никому.

К сумеркам все снова сидели в клубе на скамейках, близко друг к другу, не снимая роб. С утра никто ничего не ел. Ткача трясло так, что стучали зубы. Тамара Павловна сказала вслух то, о чем молчали все: если склад завтра не открыть, через несколько дней здесь начнут умирать. Ей никто не возразил. Папки лежали стопкой на краю стола, и к ним никто не прикасался.

Зуб вышел на крыльцо. Ветер швырнул ему в лицо ледяную морось. Он поднял бесполезный воротник робы и встал так, чтобы видеть ближнюю вышку над проволокой. В дощатой будке у самого края стояла неподвижная фигура в бушлате с поднятым воротником. Зуб смотрел на нее, пока от ветра не заслезились глаза, и фигура ни разу не шелохнулась. Впрочем, часовые на северных вышках в октябре и не шевелятся, если они не дураки.

Значит, Мох не ошибся: часовой есть. А раз есть часовой, есть и смена, и караулка, и кто-то, кто эту смену назначает и кормит. Где есть караул, там есть люди, которых можно узнать в лицо, а потом купить или сломать. Это была первая за весь день новость, которая Зубу понравилась. Над морем темнело, и фигуру на вышке уже было не различить.

Глава 2 Пульт

Экран мигнул, пошел косыми полосами и снова собрался в картинку. Плац, калитка в сетке, угол барака и девять черных роб, которые разбегались по зоне в разные стороны. Камеру Лопата поставил на крыше администрации, и сверху они были похожи на этап, который выгрузили не на той станции. Бур смотрел на них с самого утра. Первые сутки все бегают, он это знал по зоне и не торопил их. Он сидел на табурете перед пультом, в бушлате и шапке. В подвале было немногим теплее, чем на улице. За стеной ровно стучал генератор, от его стука мелко дрожала вода в кружке на краю пульта.

Пульт был старый, еще советский, из серого крашеного железа. Тумблеры шли в два ряда, над каждым была привинчена эмалевая табличка: «Первый отряд», «Второй отряд», «Клуб», «Столовая», «ШИЗО», «Вахта». Половина табличек облупилась, но расположение Бур помнил наизусть. Он сам перебрал этот пульт и сам прозвонил провода, пока Лопата светил ему фонарем. Тогда же выяснилось, что громкоговоритель в клубе работает и как микрофон, если перекинуть тумблер вниз. Так здешнее начальство когда-то слушало, о чем говорят в отрядах. Теперь так собирался слушать он.

Банку тушенки Бур вскрыл ножом в два движения и ел холодную массу ложкой, которую носил за голенищем. Левую руку он держал вокруг банки, локтем к пульту, хотя отнимать еду здесь было некому. Десять лет приучили его есть быстро, не глядя в миску и ничего не оставляя на потом. Хлеб он отламывал понемногу, а крошки сметал в ладонь и отправлял в рот.

Людей на плацу он разглядывал так, как разглядывал новых соседей, когда в хату заходили с этапа. Фамилии были делом десятым. Важнее было, кто чего стоит и кто сломается первым. Белоусов сразу полез в смотрящие, кто бы сомневался. Он стоял под динамиком у двери барака, задрав голову, и кричал в решетку, а голос ему не отвечал. На воле такие командуют, на зоне через неделю моют полы, если за ними никто не стоит. Липкин ходил вдоль сетки у вахты и примерялся к колючке, там, где она шла пониже. Бур знал этот взгляд: так смотрят те, кто думает, что умнее проволоки. Через полчаса Липкин стоял у сетки на коленях и держал перед собой порезанные ладони. Гена Сазонов держался поближе к Белоусову. Он и в девяносто седьмом всегда держался поближе к тому, кто сильнее.

На Марину Бур старался не смотреть. Камера давала ее со спины, плечи под робой и волосы, которые она все поправляла. Этого ему хватало. Один раз она остановилась у калитки, повернулась к Гене и что-то сказала ему на ходу. Гена дернул щекой и не ответил. Бур поймал себя на том, что подался к экрану, и отодвинулся обратно. Марина вышла за Гену года через

три после приговора. Об этом ему написал Илюха, коротко и аккуратно, как писал обо всем плохом. Сын теперь рос у Гены в доме, ел за его столом и, наверное, звал его как-то по-домашнему. Как именно, Бур не знал и спрашивать не хотел.

Зуба он отметил отдельно, еще утром, когда они выходили из барака. Мент единственный не бегал. Он постоял на крыльце, огляделся и стал раздавать остальным углы, как раздавал когда-то на обысках. Около полудня он послал Моха на водонапорную башню, и Мох долго торчал наверху, прижавшись к ржавым перилам. Что Мох оттуда увидит, Бур знал наперед: четыре бушлата на вышках и катер у дальнего причала. Пусть доложит. Потом Бур перевел взгляд на второй монитор, куда шла картинка с другой камеры, на углу администрации. Эта камера брала плац, крыльцо клуба и угол периметра с ближней вышкой. Зуб стоял на крыльце, подняв воротник, и смотрел на вышку.

Бур усмехнулся, не переставая жевать. Чучело Лопата набил старыми ватниками и соломой из матрасов, а бушлат и шапку взял со склада. Издалека его было не отличить от часового, особенно в такую погоду. Бур с удовольствием смотрел, как мент высматривает караулы, которых нет. В девяносто седьмом Зуб был его крышей, а потом продал его холдингу легко, как продают надоевшую машину. Теперь пусть смотрит хоть до посинения.

Звук Бур пока не включал, и не потому, что жалел генератор: на зоне он научился сначала смотреть, а потом слушать. Слова человек выбирает, а руки, плечи и затылок выбирать не умеют. Сейчас ему хватало того, что показывал экран. Кто держится поближе к кому, кто от кого отходит, кто первым сдался и сел на крыльцо.

Бушлат на чучеле был новый, и ветер трепал его пустой рукав. Бур доел, вытер ложку о штанину и сунул ее обратно за голенище. Потом достал мятую пачку «Примы» и закурил, стряхивая пепел в пустую банку. На полке над пультом лежал блок дорогих сигарет, так и не распечатанный. Этот блок Илюха сунул ему в руки у ворот, в первую же минуту на воле.

Ворота открылись не сразу. Сначала его два часа продержали в дежурке. Потом выдали справку об освобождении и вещи, сданные десять лет назад. Костюм стал велик в плечах, в часах давно сдохла батарейка. Ботинки жали так, что хотелось обратно в казенные. В этом костюме Бур вышел за ворота, и ветер сразу прохватил его насквозь. На площадке перед колонией стояла одна машина, темный джип, рядом с ней ждал человек в длинном пальто.

Илья стоял, сунув руки в карманы, и не махал, не улыбался. Он просто ждал, как ждал на всех свиданиях. Там Бура приводили к стеклу и давали в руки телефонную трубку. За эти годы он почти не изменился, только поседел на висках и стал еще тише. Бур подошел, и они постояли друг против друга, не зная, обниматься или нет.

— Ну здравствуй, Витя, — сказал наконец Илья и протянул ему сигареты, точно продолжал разговор, начатый минуту назад. — Держи, а то ты там, поди, одну махорку курил. Садись в машину, там тепло, и куртка на заднем сиденье, я привез.

— Сигареты возьму, а куртку оставь себе. — Бур забрал блок и оглянулся на ворота, за которыми остались десять лет. — Мне в моем пока привычнее, Илюха, я к нему притерся.

Потом они долго ехали молча через мокрый лес, и Илья не задавал вопросов. За десять лет Илья ни разу не вспомнил ни одной старой обиды, хотя обид у него, Бур знал, хватало. Он писал раз в месяц, приезжал на свидания и присылал посылки. Платил он и адвокатам, которые ничего не смогли. Марина приехала только один раз, с сыном. Из остальных только Мох дважды приезжал на свидание, а прочие не появлялись вовсе.

— Квартиру я тебе снял, отоспишься, а потом поговорим, — сказал Илья, когда пошли первые дома. — Спешить тебе теперь некуда, Витя, ты свое оттарабанил.

— Спешить мне есть куда, — ответил Бур, глядя в окно. — Десять лет я ждал, Илюха. Теперь пусть они подождут, а я посмотрю, как им понравится.

Илья ничего не сказал на это, только кивнул, не отрывая глаз от дороги. Деньги, которые Бур когда-то вывел через Кипр, Илья сохранил до копейки, хотя мог бы забрать их все. Об этих деньгах они толком поговорили позже, в ресторане. А в машине Бур смотрел на мокрые дома и думал, что от прежней жизни у него остался единственный человек, который его не бросил.

Широкая кровать в снятой квартире проваливалась под ним, тишина давила на уши без чужого дыхания, кашля и шагов дежурного. Под утро Бур стащил одеяло на пол и проспал часа три у батареи, головой к двери.

Сигарета догорела до пальцев. Бур бросил окурок в банку и посмотрел на нераспечатанный блок. Дорогие сигареты казались ему слабыми и сладкими, к ним надо было заново привыкать. А привыкать к чему-то заново он пока не хотел.

На железной лестнице загремели шаги, и в подвал, пригибаясь под низкой притолокой, спустились двое. Первым шел Лопата, здоровый, краснолицый, в ватнике поверх свитера, с термосом под мышкой. За ним бесшумно спустился Сыч, маленький, сухой, седой, в очках с толстыми стеклами. С Сычом Бур отсидел в одном отряде последние три года. Он знал его как человека, который много видит и мало говорит. Лопату он знал меньше. Тот был силен, исполнителен и лишних вопросов не задавал. Двое других, Малой и Гвоздь, сидели на катере у причала и в зону не поднимались вовсе.

— Бур, ну холод же собачий, — начал Лопата с порога, ставя термос на пульт. — На катере вода в трюме по щиколотку, Малой с Гвоздем всю ночь не спали, качает так, что кишки наружу. Пацаны спрашивают, сколько еще тут куковать.

— Сколько надо, столько и будете. — Бур налил себе из термоса, не спрашивая, и обхватил кружку ладонями. — Жратву на склад перетаскали, как я сказал?

— Все перетаскали, на девять рыл на две недели, с запасом, хавки там хоть залейся. И вертухаев на все четыре вышки посадил, как ты велел, бушлаты к проволоке прикрутил, чтоб ветром не сдуло, издалека вылитая вохра. — Лопата шмыгнул носом и оглянулся на Сыча, ища поддержки. — Ты скажи лучше, Бур, когда расчет? Половину ты на берегу отслюнявил, тут базара нет. А вторую когда?

Бур отхлебнул чаю и ответил не сразу. На зоне он усвоил, что пауза работает лучше крика. Человек, которому не отвечают, начинает договаривать за тебя сам. Обычно он договаривается до того, что ему же хуже. Лопата переминался с ноги на ногу и смотрел то на него, то на экраны.

— Вторую половину получите, когда катер заберет всех, — сказал Бур наконец спокойно, не повышая голоса. — Как договаривались, так и будет, я слово не меняю. Кому не нравится, тот может плыть хоть сейчас, вода рядом.

Лопата хмыкнул и отвел глаза. Сыч все это время молчал и смотрел на пульт. Смотрел он внимательно и цепко, переводя взгляд с одного тумблера на другой. Бур заметил, что дольше всего этот взгляд задерживается на эмалевых табличках.

— А клуб у тебя который? — спросил Сыч негромко, не поворачивая головы. — Этот вот, третий? И слышно через него тоже, если вниз перекинуть, или только говорить можно?

— Тебе-то зачем? — Бур поставил кружку на пульт, прямо под тумблер с табличкой «Клуб».

— Так, интересно стало. — Сыч пожал плечами и наконец посмотрел ему в лицо, спокойно и без улыбки. — Техника старая, а работает. Я такую на третьей ходке видел, у кума в кабинете. Мужики, Бур, нервничают, ты не обижайся. Остров, вода кругом, на материке менты, а денег пока половина.

— Нервничать будете, когда я скажу. — Бур поднялся с табурета, и в низком подвале это вышло само собой, без нажима. — Идите грейтесь. Вечером Лопата пусть проверит генератор и солярку, а ты, Сыч, сиди на рации и чтобы я тебя слышал.

Они ушли, и лестница прогремела в обратную сторону. Бур постоял, глядя в пустой проем, и снова сел. Взгляд Сыча на пульте ему не понравился. Но Сыч на все так смотрел, это было у него вместо разговора. А чужое любопытство на зоне не повод для разборки. Бур отложил это в сторону, как откладывают на потом мелкий долг.

Через несколько минут на пульте зашипела рация, и голос Сыча доложил, что он на связи и сидит в дежурке на втором этаже. Говорил он ровно, по-деловому, без лишних слов. Бур ответил одним словом и выключил звук. Рации у них было три: одна у него, одна у Сыча, одна на катере. Больше на острове связи не было ни у кого, и это Бур тоже ставил себе в заслугу.

Консервы стояли на полке под блоком сигарет, в два ряда. Бур проверил их, хотя и так знал, что банок двадцать. Если есть по-лагерному, раз в день и без жалости к себе, этого хватало на неделю с лишним. Больше он брать не стал нарочно. Человек с полным запасом может сидеть в подвале годами, а сидеть годами Бур не собирался. Через несколько дней, когда они перегрызутся над папками и проголодаются, он сам поднимется наверх. Войдет в барак, сядет за их стол и будет есть из их котла, десятый среди девятерых. И тогда посмотрит им в глаза, каждому по очереди.

Ход наверх у него был свой, и не один. В углу подвала, за ржавым щитом, начинался лаз в теплотрассу. Бур прошел ее еще в первый день, на четвереньках, с фонарем в зубах. Трасса тянулась под плацем к котельной, оттуда уходила ветка к баракам жилой зоны. Проволоку она проходила снизу, под землей, и никакая путанка там не мешала. В трубах давно не было воды, только сухая ржавчина и мышиный помет. Про этот ход не знали ни Лопата, ни Сыч, и Бур не собирался им рассказывать.

Голоса своего он не боялся. Перед тем как включить утром селектор, он выкурил подряд три сигареты. Десять лет «Примы» сделали остальное. Текст был записан на тетрадном листке, и тот до сих пор лежал на пульте, исчерканный, с поправками поверх поправок. Хрипа хватало и без помех. А помех старый динамик давал столько, что не узнала бы и родная мать. Марина, может быть, и могла бы что-то заподозрить: она всегда слышала больше, чем ему хотелось. Но бывшая думала, что он за границей, раз так говорил Илюха. А человек слышит то, что ожидает услышать.

Он взял листок и снова пробежал его глазами. Общая версия, подписанная всеми, совпадающая с папками. Папки он собирал полгода, вместе с Илюхой и его людьми. Каждую бумагу в них он прочел много раз. Там была правда, с датами, подписями и печатями. Значит, им оставалось одно: сказать то же самое своими словами и поставить подпись. Ничего больше Бур от них не хотел. Ровно того же, что они в девяносто седьмом сделали с ним, только наоборот. Тогда они тоже подписывали, все девятеро, каждый свое. Протоколы допросов, акты передачи, отказ от доли, отзыв лицензий. Третьего апреля за ним пришли в шесть утра, и к этому часу почти каждый из них уже поставил свою подпись. Бур узнавал об этих бумагах по одной, на следствии и в суде. Каждый раз ему казалось, что это последняя, и каждый раз находилась еще одна. Теперь они подпишут еще раз, и эта подпись будет последней.

Ближе к вечеру, когда идти им стало больше некуда, они дошли до клуба. Бур переключил монитор на камеру над сценой, которую Лопата повесил под самым потолком, в углу. Девять человек стояли вокруг стола, на котором лежали папки, и каждый открыл свою на первой странице.

Тамара Павловна открыла свою папку с конца, как открывала когда-то квартальные отчеты: сначала итог, потом все остальное. Судья сидела отдельно, прямая, точно в мантии, и папку так и не открыла. Ткача Бур помнил в кабинете с дубовыми панелями, где тот наливал коньяк и называл его Витенькой. Теперь Ткач даже на мутном экране выглядел больным.

Один раз Тамара Павловна оторвалась от бумаг и подняла голову. Она посмотрела прямо в угол над сценой, туда, где висела камера, и смотрела так несколько секунд. Бур замер с сигаретой у рта. Главбух всегда находила то, что от нее прятали, будь то лишний ноль или пропавшая накладная. Потом она поморщилась, потерла глаза без очков и снова опустила глаза в папку. Бур перевел дух и выругал себя за то, что испугался бухгалтерши с нарукавниками в голове.

Дольше всех над первой страницей стоял Мох. Бур видел, как он придавил фотографию пальцами и шевелит губами над одной и той же строчкой. Мох с Петровичем, бывало, рыбачили по выходным, и Бур решил, что Мох его жалеет. Старик был единственным честным человеком во всем порту. Он утонул в девяносто седьмом, пьяный, у собственного причала, и на похоронах плакало полпорта. Петровича Бур поставил первым сам, хотя Илюха предлагал начать с терминала и цифр. Бур уперся, потому что с Петровича все и посыпалось. Пока старик держал порт, терминал работал. Когда его не стало, за два месяца рухнуло все остальное.

Потом Белоусов закрыл свою папку и что-то сказал, и остальные закрыли тоже. Читать они не стали. Бур поморщился: он ждал, что они сядут за бумаги сразу. Потом подумал, что так даже лучше. Ночью, в бараке, когда станет холодно и страшно, они прочтут все сами, от бессилия, до последней строчки.

На втором мониторе темнело. В октябре здесь смеркалось рано, и к четырем часам плац уже тонул в сером. Из клуба потянулись к бараку темные фигуры, по одной и по двое. Первым шел Белоусов, за ним, на шаг позади, Мох. Последним вышел Зуб и, прежде чем шагнуть с крыльца, еще раз оглядел вышку и угол периметра.

Свет в жилую зону шел от того же генератора, по одной лампочке на барак. В двадцать два ноль-ноль Бур сам отключит его тумблером, как отключали когда-то ему. За стеной стучал генератор, на экране белел пустой стол клуба. Впервые за десять лет никто не говорил ему, когда вставать, когда есть и когда ложиться. Подъем сегодня объявлял он, и отбой тоже объявит он. Все шло так, как он задумал, до последней мелочи. Он перекинул вниз тумблер с табличкой «Первый отряд». Сквозь шипение из динамика проступил голос Липкина, предлагавшего что-то зафиксировать. Потом кто-то закашлялся, загремели нары, и совсем близко, почти над ухом, Марина спросила, нет ли у кого лишнего одеяла. Бур не шевельнулся, только рука на пульте так и осталась лежать рядом с тумблером. Никто ей не ответил, и через минуту снова заговорил Липкин. Бур подложил под себя ватник и откинулся спиной к стылой стене. Слушал он так, как когда-то слушал через стену соседнюю хату, не перебивая и запоминая, кто что сказал.

Глава 3 Барак

Лишнего одеяла ни у кого не нашлось, и Марина не стала спрашивать второй раз. Она села на нары и поджала ноги. Свое одеяло, тонкое и колючее, пахнущее хлоркой и чужим потом, она натянула на колени. Под потолком горела единственная лампочка, голая, на скрученном проводе, и свет от нее был желтый и скупой. Мужчины говорили все разом, и громче всех Липкин, который предлагал что-то зафиксировать. Марина его не слушала. Она смотрела, как изо рта идет пар, и пыталась вспомнить, сколько часов прошло с тех пор, как она последний раз ела.

Через несколько минут кто-то тяжело прошел по проходу и положил ей на колени сложенное одеяло. Это был Мох. Он молча кивнул и вернулся к своим нарам рядом с Белоусовым. Когда-то Мох возил ее с Артемом в поликлинику. Потом в суде он рассказывал, сколько денег возил ее муж. Марина развернула одеяло и укрылась, не думая о том, кто под ним спал раньше.

— Предлагаю распределиться, — сказал Белоусов, перекрывая остальных. — В бараке рядом такие же нары и тоже есть свет. Разумнее разделиться: мужчины здесь, дамы там, так всем будет спокойнее и, простите, удобнее.

— А Геннадий у нас куда? — спросил Ткач со своих нар, не поднимая головы. — К мужчинам или к своей даме? Мы же тут люди деликатные, нам знать надо, чтобы не перепутать.

Стало тихо, и Марина почувствовала, как все повернулись к Гене, а потом к ней, и на ней взгляды задержались дольше. Здесь все знали, чья она жена, и помнили, чьей женой она была десять лет назад. Гена покраснел пятнами, как краснел всегда, когда его ловили на слове.

— Я буду с женой, — сказал он слишком громко. — Это, по-моему, естественно, и обсуждать тут нечего. Все мы взрослые люди.

Марина могла бы сказать, что пойдет с женщинами, а он пусть остается где хочет. Она уже открыла рот и закрыла его. Сказать это сейчас значило устроить сцену при Белоусове, при Зубе, при Ткаче, который только этого и ждал. Сцен она не устраивала никогда, ни при первом муже, ни при втором. Она встала, взяла оба одеяла и пошла к выходу, и Гена заторопился следом.

Вслед ей кто-то хмыкнул, а Белоусов сказал вполголоса: «Ну, это их дело». Зуб промолчал, но его взгляд Марина чувствовала затылком до самой двери, как в девяносто седьмом, в коридоре следственного управления, куда приходила подписывать показания.

На улице уже стемнело, и до второго барака было шагов тридцать по скользким доскам. Ветер с моря бил в лицо мокрой крупой. Марина шла не оглядываясь, прижимая одеяла к груди, и слышала позади, как Гена оскальзывается и чертыхается вполголоса.

Второй барак оказался копией первого, только печь в нем была цела и не облуплена. Угля возле печи не было, уголь лежал в котельной, у мертвого котла. Гена сунулся в топку, пошарил там, выругался вполголоса и выпрямился с черными пальцами, а потом взял у двери ведро и ушел через темный двор в котельную. Тамара Павловна и судья пришли следом и заняли нары у противоположной стены, подальше от Сазоновых. Тамара Павловна первым делом пересчитала одеяла. Их оказалось по одному на человека, плюс то, что Марина принесла с собой.

— Склад они так и не открыли, — сообщила Тамара Павловна, ни к кому особенно не обращаясь. — Замок висит амбарный, Николай обещал завтра с утра посмотреть. Столовая пустая, я заглядывала, там даже соли нет. Так что ужина, Марина, не ждите, а завтрака тем более, пока замок на месте.

Она сказала это сухо, как зачитывают остаток на счете, и снова уткнулась в папку. Марина подумала, что Кислицына, наверное, уже прикинула, сколько дней можно прожить без еды при такой температуре.

— Супруги, проживающие совместно, — сказала судья, укладывая на нары папку. — Не возбраняется, хотя место, на мой взгляд, выбрано неудачно.

Гена сделал вид, что не услышал. Он сел рядом с Мариной, совсем близко, и она отодвинулась на ширину ладони. Он заметил и тоже отодвинулся, обиженно, как отодвигался дома, когда хотел, чтобы его спросили, в чем дело. Марина не спросила.

— Ты могла бы мне сказать, — начал он шепотом, глядя в пол. — Я не прошу объяснений, Марина, я просто думаю, что мы могли бы хотя бы...

— Ты тоже мог бы, — ответила она так же тихо. — Москва, переговоры, вернусь в пятницу. Давай не здесь, Гена. Потом поговорим, когда выберемся.

Он кивнул и уткнулся в свою папку, а она взяла свою. Днем никто не сел читать, днем искали выход. Теперь выхода не было, и папки остались единственным делом до отбоя, и читали их от бессилия, чтобы не думать о еде и о холоде. Марина листала и думала не столько о девяносто седьмом, сколько о том, кто знал, что девять человек прочтут это в одну ночь, на соседних нарах. Тот, кто собрал эти бумаги, знал их всех. Найти его можно было только здесь, между строк.

— У тебя там что? — не выдержал он через минуту, не поднимая глаз от страницы. — Про меня что-нибудь есть?

— Про всех есть, — ответила Марина. — Читай свое, Гена. Свое у каждого тут интереснее.

Папки они не показывали друг другу. Марина это отметила, и Гена, конечно, тоже. За годы брака они научились многому, и прежде всего тому, о чем не спрашивать.

Судья повернула голову и посмотрела на Марину через проход, долго и изучающе, поверх сложенных на груди рук.

— Я вас помню, — сказала она. — Вы давали показания на втором заседании, в синем костюме. Показания были последовательные и подробные, суд принял их без оговорок.

— Вы мне тоже запомнились, Людмила Аркадьевна, — ответила Марина ровно. — Особенно одной цифрой в самом конце.

Судья ничего не сказала. Она отвернулась к стене и поправила на себе одеяло, аккуратно, как поправляют мантию перед оглашением. Марина подумала, что в этих десяти годах есть и ее строчка, и далеко не последняя. Думать об этом здесь было бессмысленно, и она запретила себе думать.

Первые страницы она уже видела в клубе. Петрович на фоне кранов, потом схемы, справки, копии протоколов, все про терминал и про девяносто седьмой год. Дальше первой страницы тогда никто не пошел, и Марина больше следила за лицами. Теперь Марина листала дальше, туда, где начинались страницы с ее фамилией. Фамилий там было две, нынешняя и прежняя, через дробь.

Первой лежала копия ее собственных показаний, отпечатанных на машинке, с ее подписью на каждом листе. Она прочла их от начала до конца. Все там было правдой, ее словами, только сухими, следовательскими. Как муж приносил домой наличные в спортивной сумке. Как говорил по телефону про Кипр, не стесняясь ее и сына. Как кричал кому-то в трубку, что никому ничего не отдаст, хоть режьте. Эту фразу она помнила дословно. Тогда она услышала в ней только его обычное упрямство. Марина отложила лист и поняла, что смотрит на подпись так, будто видит ее впервые.

Договор купли-продажи лежал третьим. Квартира на набережной, четыре комнаты, вид на реку. Покупатель, цена, подписи сторон, печать нотариуса. Внизу стояла ее подпись, похожая на настоящую так, что она сама засомневалась бы, если бы не помнила. Дата была проставлена от руки: двенадцатое марта девяносто седьмого года. За три недели до ареста.

Марина еще раз взглянула на дату и медленно закрыла папку. Квартиру она продала, это правда. Только продала она ее зимой девяносто восьмого, после приговора, по доверенности, которую Виктор подписал в следственном изоляторе. До ареста продать ее она не могла бы, даже если бы захотела: квартира была оформлена на Виктора, как и все остальное, до последней ложки. Эту бумагу кто-то написал так, чтобы выходило, что она готовилась заранее, собирала вещи и считала деньги, пока он еще ездил на работу.

Доказать здесь она не могла ничего. Настоящий договор лежал дома, в шкафу, в синей папке с документами Артема. Нотариус, который его заверял, давно умер. А здесь, под желтой лампочкой, была только эта бумага, и любой, кто прочтет ее, поверит бумаге. Марина подумала, что сама на их месте тоже поверила бы.

Она посмотрела через проход на Тамару Павловну. Главбух знала, на кого была оформлена квартира: она сама когда-то оплачивала за нее налоги со счетов фирмы. Одно ее слово стоило бы здесь больше любой печати. Но просить Кислицыну о чем-то при всех, да еще при судье, Марина не стала бы ни за что. Она слишком хорошо помнила, как в девяносто седьмом они сидели в одном коридоре на соседних стульях и ни разу не посмотрели друг на друга.

«Он ведь и правда мог уйти», — подумала она, глядя на закрытую папку. Тогда, в девяносто шестом, это висело в доме, как запах чужих духов на его пиджаках. Она не устраивала сцен и не проверяла карманы. Ей хватало того, что приносил в дом он сам. Помаду на воротнике, телефонные звонки, после которых на том конце молчали, счет из гостиницы, забытый

в бардачке машины. Он возвращался под утро, ложился, не раздеваясь, на диван в гостиной и спал там до обеда. Однажды Артем, ему было тогда четыре, проснулся от хлопнувшей двери и вышел в коридор босиком. Он долго смотрел на отца, спящего в ботинках, а потом спросил у нее шепотом, можно ли ему тоже спать в ботинках. Утром она кормила Артема завтраком и говорила, что папа много работает.

Самым страшным были не женщины. Женщины приходили и уходили, ни одна не задерживалась дольше сезона. Страшно было другое: она ясно понимала, что ничего ей здесь не принадлежит. Квартира, машина, дача, счета, даже шуба, в которой она ходила по городу. Все было записано на него или на фирму. В феврале девяносто седьмого она нашла в кармане его пальто ключи от чужой квартиры, на брелоке с пластмассовым сердечком. Ключи она положила обратно и ничего не сказала. Через неделю их в кармане уже не было. Если бы он ушел, она ушла бы с Артемом и с одним чемоданом, а он даже не заметил бы, во что ей это обошлось.

Она помнила, как сказала ему о беременности. Это было летом девяносто первого, в съемной однокомнатной квартире с газовой колонкой, которая хлопала при каждом включении. Виктор отошел к форточке, закурил и смотрел во двор, пока сигарета не догорела. Потом сказал, что рано, что на ноги еще не встали. Сначала надо поднять дело, а дети никуда не денутся. Сказал спокойно, как говорил о поставках, о ценах на солярку и о сроках. Марина тогда впервые поняла, что спорить с ним бесполезно, и впервые все-таки поспорила. Артем родился в девяносто втором. Из роддома Виктор забрал их на чужой машине, взятой на час у партнера. Этим партнером был Гена. Он тогда принес ей огромные белые хризантемы, неловко сунул их в руки и долго стоял в прихожей. Разуваться или нет, он так и не решил. Виктор цветов не принес. Он и потом никогда о них не помнил, ни в день рождения, ни на Восьмое марта. Помнил Гена, каждый год. Марина ставила его цветы в вазу и ничего об этом не думала. Или думала, но не позволяла себе додумать.

Теперь Гена сидел рядом с ней на казенных нарах и читал свою папку, шевеля бровями. С таким лицом находят в отчете чужую ошибку и боятся сказать о ней вслух. Марина подумала, что и у него, наверное, там лежит что-нибудь вроде ее договора. Подумала без злорадства и даже без особого интереса.

Письмо пришло две недели назад, на адрес ее матери. Конверт был плотный, белый, с напечатанным адресом и без марки. Его, видимо, опустили в ящик рукой. Внутри лежал лист на бланке адвокатской конторы, фамилия была незнакомая, подпись размашистая. Адвокат сообщал, что представляет интересы Виктора Бурова, находящегося за границей. Его доверитель желает передать денежную сумму на имя сына, Артема Викторовича Бурова. Сумма в письме не называлась. Для оформления требовалась личная встреча, свидетельство о рождении сына и, по возможности, конфиденциальность.

Над словом «конфиденциальность» Марина просидела у матери на кухне целый вечер. Слово было адвокатское, гладкое, но за ним она слышала Виктора. Он никогда ничего не объяснял и никогда никому не доверял до конца. Значит, и ей предлагал сделать то же самое: никому ничего не говорить. А сказать было кому. Гена ревновал к Виктору так, как ревнуют к покойнику, молча и без надежды на победу. Узнай он про письмо, начались бы разговоры о том, кто будет распоряжаться деньгами. А потом о том, зачем Виктору понадобилось через столько лет вспомнить о сыне.

Деньги нужны были Артему, а не Гене и не ей самой. Через два года он заканчивал школу. Учился сын неровно: по алгебре тройки, по истории пятерки, которые никак не помогали с алгеброй. Ел одни макароны с кетчупом и мог съесть кастрюлю за вечер. Недавно за ужином он ни с того ни с сего спросил, оставил ли ему отец хоть что-нибудь, кроме фамилии. Марина ответила, что не знает, и это была правда.

Поэтому она взяла свидетельство о рождении и сказала Гене, что едет к матери. Матери она сказала, что едет по делам, и мать не стала расспрашивать. Мать вообще перестала расспрашивать ее о чем-либо с девяносто седьмого года. В поезде Марина не спала, смотрела в темное окно и пыталась представить, каким стал Виктор за границей. Представлялся почему-то только тот, прежний, у форточки, с сигаретой. Адвокат ждал ее в холле гостиницы, молодой, вежливый, в хорошем пальто. Он предложил подняться в номер и посмотреть бумаги. Она пошла, потому что бумаги в холле не смотрят. Дальше она помнила только, как за спиной закрылась дверь. Потом чья-то ладонь легла ей на лицо, мокрая и холодная.

Лампочка под потолком мигнула, и Марина подняла голову. Тамара Павловна сидела на своих нарах с папкой на коленях и что-то прикидывала, загибая пальцы. Судья лежала на спине, сложив руки на груди, с открытыми глазами. Гена дремал сидя, привалившись плечом к стойке нар, и папка сползала у него с колен. Над дверью, в сером ящике громкоговорителя, щелкнуло, и все, кроме Гены, разом подняли глаза.

— Граждане осужденные, отбой, — сказал хриплый голос, далекий и прерывистый, как по междугородней связи. — Свет выключается. Подъем в семь ноль-ноль. До подъема из бараков не выходить, на территории темно, а проволока под ногами. Кто выйдет, пусть пеняет на... себя.

Динамик щелкнул и умолк. Через секунду погасла лампочка, и барак провалился в темноту. Слышно было только, как Гена шумно вздохнул во сне.

— Ровно десять, — сказала в темноте Тамара Павловна. — Часы у меня забрали, но я считала с той минуты, как стемнело, и ошибиться могу минут на пять, не больше. Пунктуальный у нас хозяин, ничего не скажешь.

Ей никто не ответил. Судья на своих нарах только кашлянула, сухо и коротко, как кашляют в зале перед тем, как объявить перерыв.

Марина сидела не двигаясь. Слов она толком не разобрала, слишком сильно хрипело и трещало. Но перед последним словом голос остановился, коротко, на полвдоха, и только потом договорил. Она знала эту паузу. Так говорил Виктор, когда разговор был окончен и возражений он не принимал. «Я сказал, значит... будет». Она слышала эту паузу сотни раз, за ужином, по телефону, в машине, в постели. Последний раз она слышала ее в марте девяносто седьмого, на кухне, за завтраком. Гена тогда приехал с утра пораньше и уговаривал продать терминал, пока дают хорошую цену. Виктор дослушал, допил кофе и сказал, что терминал он не продаст... никогда. Гена уехал, не попрощавшись, а Марина весь день не могла согреться, хотя в квартире было жарко.

Марина заставила себя разжать пальцы, которыми вцепилась в край одеяла. Виктор за границей, об этом писал адвокат, об этом говорили все, кто вообще о нем говорил. Голос был чужой, хриплый, старый, совсем не похожий. А паузу перед последним словом делает половина мужчин, которые привыкли, что их слушают. Белоусов делает, Гена иногда, когда хочет казаться весомее. Ей просто холодно, она двое суток ничего не ела, и она слишком много думала сегодня о Викторе.

Она легла лицом к стене, натянула оба одеяла до подбородка и подтянула колени к груди. Стена была ледяная, от нее тянуло морем. Гена во сне привалился к ее спине, тяжелый и теплый, и она не стала отодвигаться. Марина закрыла глаза и стала думать об Артеме. Что он сейчас ест и сделал ли алгебру. Об этом думать было проще, и она думала об этом, пока не уснула.

Глава 4 Очная ставка

Склад вскрыли на рассвете. Прежде чем бить, Зуб долго разглядывал замок: тот был новый, смазанный, без единого пятна ржавчины, повешенный совсем недавно. Он молча показал его Моху. Потом сбил замок обрезком трубы, с третьего удара, а Мох придерживал дверь,

чтобы ее не мотало ветром. Внутри оказались ящики с тушенкой, крупа, сухари в мешках, чай, сахар и даже несколько банок сгущенки. Геннадий Сазонов стоял позади всех. Он смотрел, как Тамара Павловна, не дожидаясь ничьего разрешения, достает из кармана робы огрызок карандаша. Через минуту она уже вслух вела опись ящиков, а Зуб ей не мешал.

Завтракали в клубе. Мох натаскал из котельной угля в ведре, и печь у сцены раскочегарили. Впервые за двое суток можно было снять одеяло с плеч. Банки Тамара Павловна выдала сама, по одной на двоих, и каждую отметила в своем списке. Тушенку ели прямо из банок, разогрев на плите, чай пили из жестяных кружек, найденных в столовой. Сазонов съел полбанки и заставил себя остановиться. Желудок отвык, и тяжесть в нем была почти приятной. Он поймал себя на том, что впервые за двое суток не думает, что будет дальше.

Думать дальше ему не дал Белоусов. Тот поднялся из-за стола, отодвинул кружку и постучал по ней ложкой. Звук вышел жалкий, жестяной, но все замолчали. Сазонов знал этот жест по заседаниям. Белоусов так открывал совещания по отопительному сезону. Все в зале тогда уже знали, что денег на уголь нет.

— Коллеги, предлагаю перейти к делу, — сказал Белоусов, оглядывая стол. — Меня ищут, в этом я уверен, и рано или поздно здесь будут люди. До тех пор нам нужно понять две вещи. Кто это устроил и что у него есть на каждого из нас. Ответ на оба вопроса лежит в этих папках. Читаем не для него, читаем для себя. Эмоции, я думаю, оставим на потом.

— Поддерживаю, — сказал Сазонов раньше, чем успел подумать. — Абсолютно поддерживаю, Станислав Игоревич. Давайте конструктивно, все мы взрослые люди и все понимаем, что ситуация нестандартная.

Белоусов кивнул ему, не глядя, как кивают секретарю, который вовремя подал бумагу. Сазонов почувствовал, как горят уши, и сделал вид, что поправляет воротник робы. Липкин поднял руку, как школьник. Он всегда так делал на совещаниях, когда хотел, чтобы его слова попали в протокол.

— С вашего позволения, предложу процедуру, — сказал он. — Хронику мы читаем вслух, по порядку, эпизод за эпизодом. Где показания расходятся с документом или друг с другом, проводим очную ставку. Двое садятся напротив и излагают свою версию, остальные слушают и фиксируют. Так работает любое следствие, и, поверьте, это быстрее, чем всем говорить разом.

— Вы это проходили с другой стороны стола, — заметила судья сухо. — Вам и карты в руки.

Липкин улыбнулся, будто ему сделали комплимент, и Белоусов объявил, что процедура принимается. Никто не голосовал, никто не возражал. Сазонов отметил это машинально, как отмечал на сессиях, кто воздержался.

Пока говорили, за столом незаметно пересели. Белоусов оказался во главе, Липкин справа от него, с карандашом и стопкой папок. Сазонов сам не заметил, как сел по левую руку от Белоусова. В любом президиуме это было место второго заместителя. Зуб с Мохом отодвинулись к печи и сидели там вдвоем, на скамейке. Зуб грел руки и слушал, не участвуя, а Мох смотрел в огонь. Один раз Зуб наклонился к нему и что-то сказал, коротко, почти не шевеля губами. Мох помотал головой и ничего не ответил. Сазонов отметил это и тут же забыл: у силовиков всегда свои разговоры, и лезть в них себе дороже. Остальные расселись по дальнему краю стола: Тамара Павловна с карандашом, судья, Ткач, обхвативший себя руками. Марина села с ними. Сазонов хотел позвать ее ближе и не позвал: звать жену к президиуму при Ткаче значило дать ему еще один повод, а поводов Ткач и без того находил достаточно. К тому же Сазонов не был уверен, что она пойдет.

Читал Липкин, и читал хорошо, ровным казенным голосом, каким зачитывают обвинительное заключение. Январь девяносто седьмого года, первое предложение холдинга о покупке

терминала. Ответ Бурова, отказ, копия письма с его размашистой подписью. Февраль, отзыв части квот, письмо из областной администрации. Белоусов на этом месте попросил остановиться и минут десять объяснял про квоты. Отзывались они, по его словам, строго по закону и по всей области сразу. Его не перебивали, и Липкин, записав что-то на полях, читал дальше.

Начало марта, письмо банка об отзыве кредитной линии. Подпись председателя правления А. Ткача. Ткач на этом месте засмеялся, хрипло и коротко, и закашлялся.

— Подпись моя, — сказал он, откашлявшись. — Чего не отнять, того не отнять. Только вы, Эдуард, почитайте и то, что на обороте, если найдете. Там, где написано, кто мне в тот день звонил из Москвы и что обещал сделать с банком, если я не подпишу. Не найдете, конечно. Такое на бумаге не пишут.

Липкин перевернул лист и показал всем чистый оборот. Ткач кивнул, как будто ничего другого и не ждал, и снова обхватил себя руками.

Сазонов слушал вполуха. Свою папку он прочел ночью, при лампочке, пока Марина делала вид, что спит. Он знал, что ждет его в марте. Он знал это так же, как в детстве знал, на какой странице дневника стоит двойка. С каждым листом, который переворачивал Липкин, страница приближалась. Сазонов чувствовал, как под робой между лопатками собирается холодный пот.

— Десятое марта, — прочел Липкин и запнулся на долю секунды. — Протокол о намерениях. Стороны, предмет, порядок передачи управления терминалом в случае смены собственника. Со стороны ЗАО «Северная топливная компания» подписал исполнительный директор Сазонов Геннадий Сергеевич.

Все разом посмотрели на него, и Сазонов почувствовал эти взгляды кожей лица, как чувствуют сквозняк. Ткач хмыкнул, Белоусов откашлялся и посмотрел в окно. Марина подняла голову, и ее лицо Сазонов прочесть не смог.

— Это неправда, — сказал он, и голос сорвался на первом же слове. — Простите, это совершенно не так. Я хочу сказать, что в марте ничего подобного не было и быть не могло. Я никогда не подписывал никаких протоколов о намерениях, ни десятого марта, ни потом, я вообще...

— Потом, Гена, подписывал, — негромко сказал Ткач. — Потом вся область знает, что ты подписывал. Вопрос только в том, с какого числа.

— Давайте не будем, — заторопился Сазонов. — Давайте не будем переходить на личности. Я предлагаю конструктивно. Документ можно проверить, у любого документа есть реквизиты, есть исходящий номер, есть, в конце концов, печать...

Он говорил и слышал себя со стороны: слишком быстро, слишком много, слишком высоко. Так он говорил на комиссии в девяносто восьмом, когда налоговая нашла дыру в отчетности. Тогда его спас Белоусов. Сейчас Белоусов смотрел в окно.

— Покажите мне, пожалуйста, — сказала Тамара Павловна.

Липкин передал ей лист через стол. Она поднесла его к самым глазам, потом отодвинула на вытянутую руку и стала читать, шевеля губами. В клубе было слышно, как гудит печь и как в трубе свистит ветер, а Сазонов боялся дышать.

— Это фальшивка, — заключила она и положила лист на стол, разгладив его ладонью. — ЗАО «Северная топливная компания» зарегистрировано седьмого июля девяносто седьмого года. Я сама носила документы в налоговую, у меня там двоюродная сестра работала, нас без очереди приняли. Десятого марта такой компании не было. И должности исполнительного директора там не было никогда, ни в марте, ни в июле. Был генеральный, и звали его, извините, не Геннадий Сергеевич.

Сказала она это тем же тоном, каким когда-то докладывала на планерке остатки по счетам. Сазонов увидел, как Липкин медленно кладет карандаш, а Белоусов наконец отворачивается от окна.

— Давайте зафиксируем, — сказал Липкин. — Документ от десятого марта недостоверен. Компании-подписанта на эту дату не существовало.

— Значит, папка врет, — сказал Белоусов, и Сазонов впервые услышал в его голосе что-то, кроме привычной уверенности. — Кто-то подсунул нам липу. А раз в папках липа, то и условие ничтожно. Подписывать нечего и незачем. Ждем.

У печи шевельнулся Зуб. К столу он не повернулся и продолжал греть руки, но заговорил так, что услышали все.

— Бумагу писал тот, кто знал, чем все кончилось, — сказал он буднично, как говорят о погоде. — А вот когда началось, он не знал. Или знал, но решил, что мы не заметим.

— Тамара Павловна, — Белоусов повернулся к главбуху, и голос у него снова стал начальственным, — вы сможете просмотреть остальные документы? Все папки, на предмет таких же несоответствий.

— Смогу, — ответила она, не задумываясь. — Если мне дадут все девять папок и не будут стоять над душой. Два дня, если кормить три раза. Если два раза, то три дня.

Белоусов кивнул, но свою папку, лежавшую перед ним, не подвинул. Он положил ее себе на колени и придержал ладонью. Сазонов заметил это и тоже накрыл свою рукой. Липкин свою папку держал под мышкой с самого утра.

Сазонов опустился на скамейку, хотя не помнил, когда успел встать. Колени у него дрожали, и он прижал их ладонями под столом. Облегчения не было, хотя полагалось бы. Было что-то другое, липкое и стыдное, и он не сразу понял, что это. В марте он действительно ничего не подписывал. В марте он только думал. Думал по ночам, лежа рядом с женой, которая спала, отвернувшись к стене, и думал не о терминале.

— Гена у нас чистый, — сказал Ткач в пространство. — Продал всех в апреле, а не в марте. Совсем другое дело. Тамара Павловна, вы ему справку выдайте, с печатью.

Сазонов не ответил, хотя хотел сказать, что никого не продавал. Что это его продали первым, задолго до марта, задолго до холдинга и Белоусова. Что Виктор сам все решил за них обоих, еще в девяносто шестом, и даже не подумал сказать. Он узнал об этом случайно, на Новый год, на даче у Буровых. Виктор позвал человек тридцать, жарили шашлык прямо на снегу, пили из пластиковых стаканов. Ближе к полуночи Сазонов пошел искать сигареты и зашел в кабинет. На столе лежал факс, свернувшийся в трубку. Он развернул его машинально, просто чтобы положить ровно, и прочел. Банк в Лимасоле подтверждал зачисление на счет компании «Марлин Холдингс». Сумма была такая, что Сазонов прочитал еще раз. Отправитель был ему хорошо знаком: это была их общая фирма. Сазонов вспомнил, что Мох весь вечер просидел в машине у ворот, трезвый, с включенным мотором. Он еще удивился тогда, зачем охраннику сидеть в машине в новогоднюю ночь, когда хозяин в бане.

Он положил факс на место, ровно так, как тот лежал, свернутым в трубку. Вернулся к столу, выпил, кого-то поздравил. Никаких «Марлин Холдингс» в их общих делах не было. Он, совладелец, ничего об этом не знал. Это были их деньги, его деньги тоже. Они уходили на Кипр втайне от него, наличными, через Моха с его спортивной сумкой.

Ночью он так и не уснул, лежал в гостевой комнате на втором этаже и слушал, как внизу допивают. Утром Виктор пожал ему руку на крыльце, крепко, как всегда, и пообещал, что этот год будет лучше прошлого. Спросить Виктора он так и не решился. Он вообще никогда ни о чем не решался его спросить. С Виктором можно было только соглашаться или уходить, а уходить Сазонову было некуда.

В ту же ночь, выйдя на кухню за льдом, он застал там Марину: она стояла у окна в нарядном платье, с пустым бокалом, и смотрела на снег, а из бани вместе с женским смехом доносился голос Виктора. Сазонов задержался у двери дольше, чем было нужно, поздравил ее с

Новым годом и ушел, и больше между ними ничего не было, ни тогда, ни потом, до самого ареста.

Но факс и кухня так и остались у него в памяти рядом. Два документа в одной папке. Сазонов потом много лет пытался решить, какой из них важнее, и так и не решил. Третий документ лежал в его настоящей папке, той, что сейчас была у него под ладонью. Договор об уступке доли, датированный четвертым апреля девяносто седьмого года, через день после ареста. Подпись на нем была его собственная, с коротким хвостом у буквы «С», и печать настоящая, и дата верная. Этот договор Тамара Павловна разглаживать ладонью не станет. Сазонов знал, что до него Липкин дочитает завтра или послезавтра, и тогда Ткач скажет свое «совсем другое дело» уже без всякой иронии.

— Ничтожно оно или нет, а катер придет только по условию, — сказала судья, и Сазонов вздрогнул, возвращаясь к столу. — Нам предписано составить версию, совпадающую с досье. Правдивая версия с ним не совпадет. Совпадающая не будет правдивой. Формально задача решения не имеет.

— Формально имеет, — возразил Липкин и даже улыбнулся. — Если нужно совпадение, переписываем хронику как есть, слово в слово, и подписываем. Вдевятером. Хозяин получает то, что требовал, приходит катер. А что там правда, что нет, разберемся потом, на материке, в нормальной обстановке.

Сазонов увидел, как Белоусов задумчиво трет подбородок. Он увидел, как Ткач хмыкает, а судья поджимает губы. Он и сам на минуту подумал, что это выход: подписать, уехать, забыть, а там пусть разбираются адвокаты. Потом до него дошло.

— Нет, — сказал он и сам удивился, как твердо это вышло. — Простите, Эдуард, но нет. Вы предлагаете мне подписать, что я десятого марта сговорился с холдингом. Своей рукой. Вы понимаете, что это значит? Это же документ, это же потом всплывет, это всегда всплывает, это на всю жизнь...

— Я под чужими цифрами больше не подписываюсь, — сказала Тамара Павловна, не поднимая головы от описи. — Я уже один раз подписала все, что мне принесли. Хватит.

— Подписанная заведомая ложь называется лжесвидетельством, — добавила судья. — Даже если ее требует похититель. Особенно если ее требует похититель.

Белоусов поднял руку, останавливая всех. Сазонов заметил, что рука у него чуть подрагивает.

— Предлагаю так, — сказал он. — До вечера каждый еще раз внимательно читает свою папку. Ищем то, что не сходится. Даты, должности, реквизиты, все, что Тамара Павловна сейчас нашла. Вечером собираемся и сверяем. Если липа одна, это одно дело. Если их много, это совсем другое.

Ему никто не успел ответить. За столом грохнула скамейка, кто-то вскрикнул, и Сазонов увидел, что Ткач стоит, держа в обеих руках свою папку. Лицо у него было мокрое, хотя в клубе было холодно, и руки ходили ходуном так, что листы в папке шуршали.

— Да подавитесь вы своей хроникой, — сказал Ткач, и голос у него прыгал от дрожи. — И вы, и он, кто бы он там ни был. Я ничего подписывать не буду. Ни вашу правду, ни его, ни Генину. Пишите про меня что хотите, мне плевать.

Он обошел стол, открыл дверцу печи и сунул папку в огонь, всю, как была, с завязками. Дверца лязгнула. Серый картон сначала потемнел по краям, потом вспыхнул, и в клубе запахло горелой бумагой. Ткач стоял у печи, сгорбившись, и смотрел, как она горит. Сазонов смотрел на его руки и думал, что дрожат они не от злости: Ткача трясло со вчерашнего утра, потому что никто ему не наливал.

Белоусов поднялся первым и начал что-то говорить про порядок и про то, что так нельзя. Ткач отмахнулся от него, не оборачиваясь. Остальные сидели молча. Зуб у печи даже не встал.

Он посмотрел на огонь, потом на Ткача, а потом поднял голову и долго смотрел на серый ящик громкоговорителя над дверью, спокойно, как смотрят на человека, который стоит за спиной. Сазонов проследил его взгляд и ничего не понял.

После этого никто уже ничего не обсуждал, и люди начали подниматься, двигать скамейки, разбирать папки. Сазонов остался сидеть и смотрел на лист с протоколом. Он так и лежал посреди стола, разглаженный ладонью главбуха. Подпись внизу была очень похожа на его собственную, только хвост у буквы «С» он делал короче.

Липкин задержался у стола, собирая свои папки, и наклонился к нему ближе, чем было нужно.

— Геннадий Сергеевич, вы не горячитесь, — сказал он вполголоса, не глядя на него. — Я ведь предлагал в рамках, чисто процедурно. Мы с вами в одной лодке, если вы заметили. Вы, я, Станислав Игоревич. Давайте вечером переговорим втроем, до общего собрания, и выйдем на него с согласованной позицией. Так всем будет проще.

Сазонов кивнул, не понимая толком, на что соглашается. Он поднял глаза и увидел, что Зуб смотрит на них от печи, спокойно, без всякого выражения. Липкин тоже это заметил, выпрямился, похлопал Сазонова по плечу и ушел на свое место. Сазонов подумал, что следователь за десять лет совсем не изменился. Он и тогда хлопал по плечу перед тем, как дать подписать протокол.

Марина прошла мимо и на секунду задержалась у его плеча. Он поднял голову, ожидая, что она что-нибудь скажет. Она ничего не сказала, только взяла его пустую кружку, чтобы отнести к печи, и пошла дальше. Печь в углу прогорала, и никто не вставал подбросить угля. Сазонов смотрел жене в спину. За все годы брака она ни разу не спросила его, что он делал в марте девяносто седьмого. Хорошо это или плохо, он так и не понял.

Глава 5 Илюха

Первые сутки они бегали, как бегают все. Бур смотрел на это с экрана и не мешал. На зоне он видел сотню этапов. Каждый новый этап в первый день делал одно и то же. Тряс решетки, требовал начальника, искал щель, которой нет. К вечеру это понимали даже самые упертые, и этих он не торопил. Бур ел тушенку и ждал, когда они устанут. Он и сам когда-то тряс решетку в первую ночь в изоляторе, тряс до крови на пальцах. Потом сокамерник, старый вор с наколотыми перстнями на руках, спокойно сказал ему, что решетку до него трясли человек двести. Бур запомнил эти слова на всю жизнь. Решетка за десять лет так и не поддалась, а вот он сам научился ждать.

Ко второму утру они устали. Бур понял это по тому, как они шли к клубу: медленно, гуськом, не глядя по сторонам. Никто больше не дергал калитку и не задирал голову на вышки. Голод делал свое дело быстрее любого конвоя. Мент сбил замок на складе, главбух тут же взялась за опись, и Бур одобрительно хмыкнул. Пусть поедят: сытый человек думает о том, как выбраться, а голодный только о том, как бы поесть. Ему нужно было, чтобы они думали о папках.

После завтрака он перекинул вниз тумблер с табличкой «Клуб». Потом надел старые наушники, которые Лопата раздобыл на складе связи. В наушниках шипело и потрескивало, но голоса шли разборчиво, как из соседней хаты через стенку. Липкин читал хронику ровным следовательским голосом, Белоусов перебивал его, объясняя про квоты. Бур слушал и кивал. Они читали его бумаги и спорили о его годе, и каждый уже искал, на кого перевалить.

Про протокол от десятого марта он знал заранее. Он сам выбрал эту бумагу для начала, потому что с Гены было проще всего начать. Гена всегда ломался первым и сейчас, судя по голосу, ломался как надо. Бур даже прикрыл глаза, слушая, как тот блеет про реквизиты и печати. Потом заговорила Тамара Павловна, и Бур перестал улыбаться.

Он слушал ее, не шевелясь. Главбух говорила, что компанию зарегистрировали только седьмого июля, что такой должности там не было и генерального звали иначе. Говорила она сухо и уверенно, как в девяносто шестом докладывала ему на планерках. От этой уверенности у Бура свело скулы. Потом мент у печи сказал что-то про того, кто знал конец и не знал начала. Липкин предложил это зафиксировать, а Белоусов произнес слово «липа».

Бур снял наушники и положил их на пульт. «Врут, — подумал он, — выкручиваются, как выкручивались всегда». Тамару Павловну он знал слишком хорошо. Эта женщина могла найти любую дату в любой бумаге. А если даты не было, она ее рисовала, и налоговая потом верила. Оба с Геной теперь в холдинге, и оба кормятся из одной кормушки. Конечно, она его прикроет, с датами и с двоюродной сестрой в налоговой. Бумагу Илюхины люди взяли в архиве, это Бур знал точно. Значит, врет не бумага. Он снова надел наушники и успел к самому интересному. В клубе грохнула скамейка, кто-то вскрикнул, и сквозь треск Бур разобрал хриплый голос Ткача.

Тот кричал, что подписывать ничего не будет, ни их правду, ни чужую, и пусть про него пишут что хотят.

Потом лязгнула дверца печи, и в наушниках стало тихо. Бур переключил монитор на камеру в клубе: Ткач стоял у печи, а в топке горела серая папка. Мент со своего места даже не встал. Он поднял голову к серому ящику громкоговорителя над дверью и смотрел на него долго и спокойно, и Бур отодвинулся от экрана, хотя знал, что отсюда его не видно. Знать мент ничего не мог: динамик и динамик, такие висят в каждом клубе. Но смотрел он правильно, по-ментовски, и Буру это не понравилось.

Бур пожал плечами: Ткач всегда был такой, с самого начала, с первого кредита. Сначала кричал, что ни за что. Потом подписывал все, что клали перед ним, и еще благодарил. Подпишет и теперь, никуда не денется. Голод подпишет за него, и холод тоже. А без его подписи катер не придет ни за кем. Остальные восемь объяснят ему это лучше любого селектора. Бур решил, что отвечать по громкой связи не станет: объяснять он не любил ни на воле, ни на зоне.

Папки собирал Илюха, и про это Бур думал без всякого сомнения. Он помнил, как все началось, до последней мелочи, потому что за десять лет разучился забывать.

Через неделю после ворот Илья повел его в ресторан. Рыбный, на набережной, почти пустой в будний вечер, с белыми скатертями. Официант ходил бесшумно, как надзиратель по продолу. Илья заказал за обоих, не спрашивая, и Бур был ему за это благодарен. Меню он прочесть не смог бы: цены в нем были как из другой жизни. Принесли уху, потом какую-то рыбу под соусом. Бур ел быстро, держа левую руку у тарелки. Он заметил, как Илья посмотрел на эту руку и отвел глаза.

Над стойкой бара висел телевизор, и там без звука показывали новости. Какой-то американец в черной водолазке держал в руке плоский телефон без кнопок, и Илья кивнул на экран.

— Узнаешь компанию? — спросил он негромко. — Ты в девяносто пятом велел мне купить их бумаги. Все тогда смеялись, говорили, они покойники, а ты уперся. Сейчас они показали вот это, и бумаги выросли примерно в пятьдесят раз. Все лежит на «Марлин Холдингс», как и лежало, я ничего не трогал.

Он достал из внутреннего кармана сложенный вчетверо листок и положил на скатерть рядом с тарелкой Бура. Бур развернул его и увидел одно число, написанное от руки аккуратным Илюхиным почерком. Бур посмотрел на это число и сложил листок обратно.

— Это твоя доля, Витя, — сказал Илья. — Вся, до цента. Я свое тоже взял, ты не думай, я не святой. Возьми и уезжай. Купи дом у моря, где тепло, где тебя никто не знает. Живи. Ты свое отсидел.

— А они? — спросил Бур.

— А их оставь. — Илья не повысил голоса, он вообще никогда его не повышал. — Я знаю, о чем ты думал все эти десять лет. Не надо, Витя. Правда утопит всех. И их, и тебя, и тех, кто над ними, а там наверху такие люди, что от них даже на Кипре не спрячешься.

Бур отвернулся к окну, где по черной реке шел буксир с огнями. Он думал, что Илюха прав, как всегда был прав. Он и в девяносто третьем был прав, когда говорил, что нефтебазу брать не надо. Бур тогда его не послушал и отправил на Кипр, держать офшор и остыть. Илюха остыл, он вообще умел остывать. За четырнадцать лет он ни разу не напомнил Буру о том, что было между ними тогда. Об этом Бур думать не стал.

— Мне не деньги нужны, — сказал он наконец. — Деньги ты правильно сохранил, спасибо. Но я десять лет не за деньги сидел. Я хочу, чтобы они сказали. Сами, своими словами, все девятеро. И подписали, как тогда подписывали против меня. Пока они не скажут, я отсюда никуда не уеду.

Илья посмотрел на него долго и внимательно. Так смотрят на больного, про которого доктор уже все сказал.

— Сына видел? — спросил он вдруг, совсем другим голосом.

— Видел, — ответил Бур. — Один раз, на свидании, ему тогда восемь было. Сейчас пятнадцать. Я его на улице не узнаю, Илюха, и он меня не узнает. Пусть сначала они скажут, а потом я к нему приду. Не раньше.

— Ты не изменился, — сказал Илья и подозвал официанта.

Расплатился Илья пластиковой карточкой, и Бур впервые в жизни увидел, как платят без денег. Официант унес карточку на подносе и принес обратно с чеком. Бур проводил ее глазами и подумал, что за десять лет мир научился многому. Слова Ильи он принял за похвалу.

Илья пришел через три дня, вечером, на съемную квартиру. С собой у него была бутылка и толстая папка под мышкой. Бур спал на полу у батареи, по-прежнему, и открыл ему в майке и в лагерных штанах. Илья поставил бутылку на стол, папку рядом и сел, не снимая пальто.

— Я думал, Витя, — сказал он. — Три дня думал. Отговорить тебя я не смогу, это ясно. Значит, лучше я помогу, чем ты наделаешь глупостей один. Хочешь правды — будет тебе правда. У меня есть люди в архивах, есть люди в налоговой, бумаги поднимем все, какие остались. Деньги не вопрос, деньги твои. Вопрос в том, где и как.

Он открыл папку, и там были копии протоколов, выписки, справки, письма. Бур листал их и чувствовал, как у него холодеют пальцы. Девяносто седьмой год лежал перед ним на столе, весь, с подписями.

— Их надо собрать вместе, — сказал Бур, не поднимая головы от бумаг. — Всех девятерых. И чтобы никуда не делись, пока не скажут. Чтобы ни адвокатов, ни звонков, ни охраны.

— Это остров нужен, — пожал плечами Илья. — Или что-то вроде острова. Только где ты его возьмешь?

Остров у Бура был. Он видел его в девяносто шестом с палубы танкера, когда сам гонял солярку на северные точки. Серые бараки на голом берегу, вышки, проволока, водонапорная башня. Капитан тогда сказал ему, что это колония и что оттуда за все время никто не ушел. Потом колонию закрыли, это Бур узнал уже на зоне, от этапника, который там сидел.

— Большая Луда, — сказал он. — ИК-17, закрыта. Там все есть: и бараки, и проволока, и вышки. И оттуда не уйдешь.

Илья улыбнулся, впервые за весь вечер.

— Ты всегда все придумывал сам, Витя, — сказал он и налил по второй.

Потом Илья достал записную книжку в кожаном переплете и попросил назвать всех девятерых. Бур называл фамилии, а Илья записывал их столбиком, аккуратно, по одной на строку. Против каждой он ставил маленькую галочку, когда Бур объяснял, кто это и что сделал. Над

фамилией Мохова он задержался и поднял глаза. Бур сказал, что Мох тоже, без Моха никак, Мох первым дал показания. Илья кивнул и поставил галочку.

С того вечера план был его. Бур рисовал схемы, прикидывал людей, банки, литры солярки. Текст для селектора он писал на тетрадном листке и перечеркивал раз десять. Илья доставал бумаги, деньги и катер, но решал все Бур. Илюха ни разу с ним не поспорил.

Людей он тоже набрал сам, и в этом был уверен еще больше, чем в бумагах. На зоне его знали. Первые годы он прожил так, что о нем заговорили еще до того, как он сам кого-то запомнил. Он не стучал куму и не пошел в хозбанду. Не просил свиданий и ни разу не дал себя нагнуть. Три раза сидел в ШИЗО и выходил оттуда таким же, каким входил. Слово Бура стоило больше, чем чужие деньги, и это знали все, от смотрящего до последнего шныря.

Лопату он когда-то вытащил из истории, которая для Лопаты могла кончиться в лучшем случае больничкой. Лопата это помнил и вышел зимой, раньше Бура. Малой и Гвоздь были Лопатины люди, молодые, тупые и злые. Как раз для катера и для черной работы. За них поручился Лопата, и этого Буру было достаточно. Когда Бур рассказал Лопате, что за работа, тот помолчал, а потом спросил только одно: «Мокрого не будет?» Бур ответил, что не будет. Ему эти люди нужны живыми, все девять, и живыми они должны уехать с острова. Мертвый ничего не подпишет и ничего не скажет. Лопата кивнул и больше об этом не спрашивал.

Сыч подошел к нему сам, в курилке, в последнюю зиму. Сел рядом на корточки, закурил, помолчал.

— Слышал, ты весной выходишь, — сказал он тогда, глядя в сторону. — Я позже выйду, летом. Если будет работа, найди меня. Мне все равно какая.

Буру понравилось, что Сыч не спросил, что за работа. Ему понравилось и то, что Сыч пришел сам, без чужой подсказки и без просьб. Таких людей на зоне мало, и Бур их ценил. Он записал Сычу адрес Илюхи, и летом Сыч позвонил по этому адресу первым.

Ночью Бур проснулся от шагов на лестнице. Он лежал на матрасе у пульта, в бушлате, и сразу сел, нащупав под подушкой нож. Свет в бараках он выключил в двадцать два ноль-ноль, как обещал. На мониторе с камеры на крыше было черно. В проеме показался фонарь, за ним Лопата, а за Лопатой бесшумный Сыч.

— Не спишь, Бур? — спросил Лопата и сел на табурет, не дожидаясь приглашения. — Базар есть. Пацаны на катере на измене, и я, честно скажу, тоже. Вчера ихний на башню лазил, а с нее весь остров как на ладони. Мент по периметру шныряет, колючку щупает, на вертухаев наших смотрит. А сегодня кто-то из них папки жжет и орет. Они не чалятся, Бур, они шмон ведут.

— Пусть шманают. — Бур не убрал нож, только положил его на колено. — Ничего они не найдут.

— А если найдут? — Лопата наклонился к нему, и от него пахнуло перегаром и соляркой. — Нас четверо, их девять, и мент среди них. Спалят — всем по новой срока намотают, а ты у них паровозом пойдешь. Мы не соскакиваем, ты не думай, досидим до конца, как подписались. Только расчет давай сейчас, пацанам спокойнее, когда бабки в кармане. И погода портится, Малой по рации слышал, на завтрашнюю ночь шторм обещают. В шторм на катере хоть знать, за что болтаешься.

Бур посмотрел на Сыча, который стоял у пульта, сунув руки в карманы, и молчал.

— А ты что скажешь? — спросил его Бур.

— Деньги в сумке, Бур, — ответил Сыч спокойно, без нажима. — Днем раньше, днем позже, тебе какая разница? А людям спокойнее. Спокойные люди глупостей не делают.

Бур думал недолго. Откажешь, и они все равно уйдут, только без денег и с обидой. А обиженный зэк хуже голодного. Заплатишь, и они повязаны словом. На зоне тот, кто платит в срок и не жмется, получает больше, чем тот, кто держит деньги до последнего. Доброты в этом

не было никакой, одна выгода, и она всегда себя оправдывала. Он всю жизнь так делал и ни разу не прогадал. Был, правда, девяносто седьмой год, но там дело было не в деньгах.

Он встал, вытащил из-под матраса спортивную сумку и расстегнул молнию. Пачки долларов лежали в полиэтилене, перетянутые аптечными резинками. Бур отложил вторую половину, четыре равные доли, и разложил на пульте, рядом с тумблером «Клуб».

— Это за всех четверых, — сказал он. — Это вторая половина, больше не будет. Досидите до катера, как договаривались. Слово.

— Отвечаю, Бур, — сказал Лопата, сгребая пачки за пазуху.

Лопата взял за себя и за Малого, Сыч за себя и за Гвоздя. Свои пачки Сыч сунул в карман, не развязывая резинок. Он не смотрел на деньги. Он смотрел на пульт, на тумблеры, на рацию, на кабель, который уходил от генератора в стену. Бур заметил этот взгляд второй раз за два дня. И второй раз решил, что это у Сыча манера такая. Он, наверное, и на воле на все так смотрит.

Они ушли, лестница прогремела наверх, потом хлопнула дверь. Стало тихо, только стучал за стеной генератор. Бур застегнул сумку, сунул ее обратно под матрас и лег, не раздеваясь. Денег в сумке осталось больше, чем он отдал, и это его успокоило. Все шло по плану. «Еще два-три дня», — решил он, глядя в темный потолок. Пусть проголодаются, перегрызутся, пусть Ткач покричит, а мент побегает по периметру. Потом он сам поднимется к ним по теплотрассе, войдет в барак и сядет за стол. И тогда разговор пойдет уже не через динамик.

Глава 6 Опись

Склад оказался длинным кирпичным сараем без окон, с бетонным полом и полками вдоль стен. Тамара Павловна Кислицына стояла посередине с фонарем и светила на ящики по очереди. Фонарь Мох нашел в каптерке, вместе с запасной батарейкой. Мох снимал ящики с полок, ставил на пол, вскрывал верхний, показывал ей и ставил обратно. Она записывала. Писала она огрызком карандаша на обороте картонной обложки: другой бумаги не нашлось. Почерк у нее от холода выходил мелкий и угловатый.

Тушенки было шесть ящиков, по двенадцать банок в каждом. Сухарей четыре мешка, на глаз килограммов по десять. Крупы, гречки и перловки, три мешка. Чай плиточный, сахар песком, соль, десять банок сгущенки, две коробки галет и ящик свечей. Тамара Павловна сложила цифры в уме и проверила их, сложив еще раз в обратном порядке. Выходило, что девятерых этот склад прокормит две недели, если есть досыта.

— Две недели, — сказала она Моху, хотя он не спрашивал. — Ровно столько, сколько надо, чтобы мы не умерли и не разжирели. Кто-то очень хорошо посчитал.

Мох пожал плечами и снял с полки следующий ящик. Он вообще говорил мало, и с ним Тамаре Павловне было спокойно. Мох работал, как работают люди, привыкшие таскать чужое: ровно, не торопясь и не задавая вопросов.

— Это вы вчера на башню лазили? — спросила она, не отрываясь от записей.

— Я, — ответил Мох и поставил ящик на пол. — Николай велел. Оттуда все видно, Тамара Павловна. Остров маленький, кругом вода, земли не видать. А у дальнего причала катер стоит, белый, с рубкой.

Она записала и это, на полях, отдельно от продуктов: «катер у причала, белый». Привычка записывать все, что может понадобиться потом, у нее была с первого места работы. Тогда это была овощная база, и начальник воровал так, что она завела вторую тетрадь.

Про норму она решила еще утром, пока все спорили над хроникой. Банка тушенки на двоих в день, сухарей по горсти утром и вечером. Каша раз в день, чай без ограничений, сахару по две ложки. Сгущенку не трогать: это запас на крайний случай. Свечи выдавать по одной на барак, на вечер. Норма выходила скудная, но честная. При такой норме склада хватало на шестнадцать дней, на два больше, чем рассчитал тот, кто его набивал. Тамара Павловна любила, когда запас превышал потребность, и не любила, когда кто-то решал за нее.

Белоусов пришел к складу после обеда, посмотрел на ее записи и сказал, что норма занижена. Взрослым мужчинам при такой температуре нужно больше, это физиология. Он говорил вежливо, но тоном, каким разговаривают с подчиненными, которые забыли, кто здесь главный.

— Больше будет, когда я буду знать, сколько мы здесь просидим, — ответила Тамара Павловна, не поднимая головы. — Пока я этого не знаю, норма такая. Хотите больше, Станислав Игоревич, — пишите заявку. Я рассмотрю.

Белоусов открыл рот, и в этот момент из-за угла склада вышел Зуб. Он молча встал рядом с Мохом и стал смотреть на Белоусова. Так смотрят люди, которые ждут конца чужой речи. Белоусов посмотрел на него, потом на Моха, потом снова на Тамару Павловну. Сказал, что вопрос, безусловно, можно обсудить позже, и ушел.

— Правильно делаете, — сказал Зуб, когда шаги Белоусова стихли. — Дверь на ночь проволокой замотайте, я посмотрю чем. Замок я сбил, другого нет.

Он ушел так же тихо, как появился. Тамара Павловна посмотрела ему вслед и подумала, что Зуб помогает ей не из уважения к цифрам. Склад был единственным на острове местом, где лежала власть. Мент хотел, чтобы эта власть лежала у того, кто не станет с ним за нее спорить. Ее это устраивало. Спорить с ним она и не собиралась.

Вечернюю норму она раздавала в клубе сама, из ведра, черпая тушенку с разогретой кашей алюминиевой кружкой. Очередь выстроилась без всякой команды, так, как выстраивались когда-то за зарплатой. Белоусов подошел первым и взял свою кружку молча, глядя поверх ее головы. Липкин протянул миску обеими руками, перебинтованными полосками от простыни. Марина встала рядом и без просьбы начала раскладывать сухари, по три штуки на человека, и Тамара Павловна ей не помешала. Судья взяла свою порцию и вернула половину сухарей обратно в мешок, сказав, что столько ей не съесть. Зуб подошел последним, как подходят офицеры в хорошей части, когда рядовые уже поели. Тамара Павловна отметила это и положила ему ровно столько, сколько всем.

Ткач пришел под вечер, когда она уже заматывала дверь проволокой. Он стоял поодаль, обхватив себя руками, и его заметно трясло. На нем были роба и два одеяла поверх. Лицо у него было серое и мокрое, несмотря на холод. Днем он сжег свою папку в печке клуба и кричал, что ничего не подпишет. Потом Белоусов и Липкин долго говорили с ним у печи. Объясняли, что без девяти подписей не уедет никто. Ткач послал обоих так, что даже Мох поднял голову.

— Тамара Павловна, — сказал Ткач сипло. — У вас сахар есть. Дайте горсть. Я верну, когда выберемся, честное банкирское.

Она знала, отчего его трясет. В девяносто восьмом, после банкротства, он полгода приходил в их контору занимать деньги. Уже тогда от него пахло так, как пахнет сейчас. Тамара Павловна размотала проволоку, вошла на склад и отсыпала ему в кружку сахару, вдвое против нормы. Записала в опись отдельной строкой: «Ткачу, сверх нормы, по состоянию здоровья».

— Спасибо, — сказал Ткач и посмотрел на кружку так, будто в ней было что-то другое. — Вы одна тут нормальная, Тамара Павловна. Вы хоть знаете, сколько всего у нас осталось.

Последним, уже в темноте, к складу подошел Сазонов. Он долго мялся, переступая с ноги на ногу, потом поблагодарил ее за утреннее. Сказал, что она его, можно сказать, спасла и что он этого не забудет.

— Я не вас спасала, Геннадий Сергеевич, — ответила Тамара Павловна, затягивая проволоку плоскогубцами. — Я дату спасала. Дата была неправильная. Если в вашей папке найдется правильная, я и про нее скажу.

Сазонов кивнул и ушел, и она по спине видела, что он понял.

На полях описи, рядом с катером, Тамара Павловна вывела еще одну строчку, мелко, для себя: «Ткач, банк». Платежи, по которым шел ее процент, проходили через банк Ткача. Других дорог тогда не было: вся наличка области шла через него. Если кто и мог сохранить выписки, которые сгорели вместе с банком, так это его бывший хозяин. Ткач кричал сегодня

громче всех, что ему наплевать. Тамара Павловна давно знала, что громче всех кричат те, кому есть что прятать.

Свою папку она прочла еще в первую ночь. Сегодня вечером она перечитала ее при свече, пока Марина спала, а Сазонов ворочался. Читала она не хронику, а последние страницы, где начиналась ее фамилия. Читала так, как читала когда-то чужие балансы: сначала итог, потом движение средств, потом основания.

Итог был простой. С осени девяносто пятого по март девяносто седьмого года с наличных потоков фирмы Бурова уходил процент. Небольшой, полтора с каждой обналички, через третий банк, на счет, открытый на имя ее брата. Выписки были настоящие. Тамара Павловна узнала их сразу, по бледно-лиловой печати и номеру счета. На полях стояли ее собственные пометки карандашом. Этих выписок не должно было существовать. Брат умер в двухтысячном, счет закрыли, банк исчез вместе со своими архивами. И все-таки выписки лежали перед ней, все до одной, с ее карандашом на полях.

Фальшивок в ее разделе не было. Она проверила каждую дату, каждую сумму, каждый номер. Все сходилось до копейки, и это пугало ее больше любой подделки. Кто-то нашел то, что найти было нельзя. И положил это на стол рядом с бумагами, которые врали про Сазонова. Значит, этот кто-то знал, где у кого правда, а где ложь. И знал, кому что подложить.

Было и еще одно, о чем в папке не говорилось ни слова. Весной девяносто седьмого Тамара Павловна сожгла в бухгалтерии у себя на столе в пепельнице несколько листов. Сожгла сама, собственными руками, ночью, когда в конторе уже никого не было. Что это были за листы, она помнила до последней строчки, но думать об этом здесь не собиралась. Папка о них молчала. Тамара Павловна закрыла ее, задула свечу и легла, сложив руки поверх одеяла.

Перед тем как уснуть, она подумала о том, кто все это устроил. Склад собирал человек, который знает толк в цифрах. Две недели на девятерых, тютелька в тютельку, свечи по числу вечеров, соль, о которой забывают все, кроме бухгалтеров. Буров так не умел никогда. Буров давил, кричал, ломал, а цифры оставлял ей, и при нем на складах вечно чего-то не хватало. Говорили, что он вышел в этом году и уехал за границу. «Если это и он, — подумала Тамара Павловна, — то считал за него кто-то другой».

Позвонили ей на работу, в четверг, ровно в девять утра, когда она только вошла в кабинет. Мужской голос, молодой и очень вежливый, попросил Тамару Павловну Кислицыну. Убедившись, что это она, голос сказал, что у него есть бумаги с ее подписью. Платежные поручения за девяносто шестой и девяносто седьмой годы, оригиналы, всего сорок два листа. Он готов передать их ей лично, в одни руки, без копий. Цену он назовет при встрече.

Тамара Павловна спросила, откуда у него эти бумаги. Голос ответил, что это не имеет значения. Значение имеет другое: срок давности по таким делам истекает весной. До весны эти бумаги могут оказаться в прокуратуре. А могут не оказаться. Это зависит от нее.

Она положила трубку и долго сидела, глядя на календарь на стене. Каждый год, в первых числах апреля, она обводила на новом календаре одну дату и ставила рядом маленькую цифру. В этом году цифра была девять. В следующем должна была быть десять, и тогда все кончилось бы само собой. Сорок два листа. Она помнила эти поручения, каждое. Она сама их подписывала, по одному в неделю, полтора года. И каждый раз говорила себе, что делает это в последний раз. Десять лет почти прошли, и вот, когда до конца оставалось несколько месяцев, ей позвонили.

Голос перезвонил в пятницу и назначил место: Архангельск, вокзал, зал ожидания, вечер семнадцатого. Тамара Павловна взяла отгул, купила билет на вечерний поезд и никому не сказала ни слова. Мужу она давно ничего не говорила, а на работе никто не спрашивал. В зале ожидания к ней подсел молодой человек в хорошем пальто и положил на скамейку конверт.

В конверте лежал один лист, первое поручение, с ее подписью и бледно-лиловой печатью. «Остальное, — сказал молодой человек, — в машине, на площади». Она пошла за ним, потому что сорок один лист не оставляют в чужой машине. Молодой человек открыл ей заднюю дверь, как открывают начальству, и сам сел вперед. На заднем сиденье лежала серая картонная папка с завязками. Тамара Павловна потянулась к ней раньше, чем успела подумать. Дальше было тепло, запах лекарства и темнота. Такую же папку, серую, с завязками, она увидела потом на столе в клубе, со своей фамилией на обложке.

Утром третьего дня ее разбудила тишина. Тамара Павловна не сразу поняла, что именно не так. Она лежала и слушала. Потом поняла: селектор не объявил подъем. Два утра подряд голос объявлял его ровно в семь, минута в минуту, она сверялась. А сегодня за окном уже серело, и никто ничего не объявлял. И еще одно: стих далекий стук из-за второго забора. Все эти дни он шел оттуда, ровный, как часы. Она так привыкла к нему, что перестала замечать. Теперь его не было.

Ночью ей чудился мотор, около двух, далеко, со стороны моря. Тамара Павловна тогда решила, что это тот самый стук, только громче из-за ветра. Теперь она поняла, что ошиблась.

Она встала, накинула одеяло на плечи и вышла. Было очень холодно, у крыльца лежала тонкая корка льда. До склада она дошла быстро, почти бегом, хотя бегать не любила и не умела. Проволока на двери была перекушена и висела двумя концами. Дверь стояла открытой. Тамара Павловна посветила внутрь фонарем, который держала под подушкой, и долго стояла на пороге.

Полки были пусты. Все до одной, сверху донизу. Ни ящиков, ни мешков, ни коробок. Только на бетонном полу белела рассыпанная крупа, и в углу валялась раздавленная пачка чая. От двери через двор тянулась широкая полоса волока, там, где тащили мешки. Вела она к калитке во втором заборе. Калитка, которая все эти дни была заперта на цепь с замком, теперь стояла настежь. Цепь висела на столбе, перекушенная, как и ее проволока.

Шесть ящиков тушенки, четыре мешка сухарей, три мешка крупы. Все, что она вчера проверила и записала, исчезло за одну ночь. Опись, над которой она просидела полдня, превратилась в список того, чего больше нет. Тамара Павловна стояла на пороге и чувствовала, как у нее мелко дрожат пальцы, державшие фонарь. Она сжала фонарь крепче, и дрожь прошла.

Она подняла с пола раздавленную пачку чая и сунула ее в карман. Потом вернулась в барак и разбудила всех.

Через час Зуб с Мохом вернулись из-за второго забора. Они прошли через открытую калитку, через пустой административный двор, мимо караулки, до самого причала. Зуб рассказывал коротко и без выражения, как рассказывают рапорт. На причале никого, катера нет. На воде у причала радужная пленка от солярки. На берегу следы сапог, человек пять, может, больше, и две пустые канистры. Дверь административного корпуса заперта, стучали, никто не ответил. Окна на первом этаже забраны решетками, на втором темно. На вышке ближе к причалу по-прежнему стоит часовой в бушлате, и на крики он даже не повернулся.

— Ушли, — закончил Зуб. — Охрана или кто там был. Ушли ночью на катере и забрали наше. Насовсем или нет, не знаю.

— Давайте зафиксируем, — начал было Липкин, и Зуб посмотрел на него так, что Липкин замолчал на полуслове.

— Значит, нас бросили, — сказал Белоусов, и голос у него был чужой, высокий. — Нас просто бросили здесь.

— Или наказали, — сказала Марина тихо. — За то, что вчера было в клубе.

Все посмотрели на Ткача. Ткач сидел на нарах, завернувшись в одеяла, и его трясло так, что стучали зубы. Он даже не поднял головы.

— Оставление в опасности, — сказала судья, глядя перед собой. — Статья сто двадцать пятая. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.

Ей никто не ответил. Тамара Павловна посмотрела на часового на дальней вышке, которого было видно в окно, и подумала, что концы с концами не сходятся. Охрана ушла, а часовой остался. Она записала это на полях, рядом с катером, и поставила вопросительный знак. Дальше она слушать не стала. Она достала из-под нар свой картонный лист с описью и разложила на коленях. Потом выложила на одеяло все, что осталось после вчерашней раздачи. Она всегда выдавала норму на сутки вперед, такая у нее была привычка еще с советской бухгалтерии. Две банки тушенки, неполный кулек сухарей, полкулька сахару и раздавленная пачка чая с пола. Это было все. Она сложила картонку пополам и убрала во внутренний карман робы, к раздавленной пачке чая.

Глава 7 Этап

Разбудил его холод, а еще раньше тишина. Бур открыл глаза под бушлатом и долго лежал, не понимая, что изменилось. В подвале было темно, хотя под потолком всегда горела дежурная лампочка от генератора. За стеной ничего не стучало. Десять лет он засыпал и просыпался под чужие звуки, под храп, кашель и лязг замков. Тишина пугала его сильнее любого шума. На зоне тишина бывает только перед шмоном или перед бедой.

Он нашарил фонарь, включил и посмотрел на часы. Было начало девятого. Подъем он проспал, впервые с тех пор, как сам стал его объявлять. Мониторы над пультом стояли черные, мертвые, в них отражался луч фонаря. Бур щелкнул тумблером камеры, потом другим. Ничего не произошло.

Генератор стоял в соседней каморке, за железной дверью. Бур открыл ее и сразу почувствовал запах: остывший металл, соляра и что-то еще, кислое, горелое. Генератор был холодный. Он открутил крышку бака и посветил внутрь. На дне блеснула тонкая пленка, и больше ничего. Канистры, которые вчера стояли у стены в два ряда, исчезли все до одной. На бетоне остались только темные круги, там, где они протекали. Каморка была в трех шагах от его матраса. Значит, ночью они возвращались, ходили мимо него, спящего, носили канистры, и он не проснулся. Он, который на зоне просыпался от шороха чужой руки у тумбочки. Бур посветил на щиток у стены и увидел еще одно. Толстый кабель, который шел от генератора к пульту, был перерезан у самого щитка, аккуратно, кусачками, и концы разведены в стороны, чтобы не замкнуло. Даже если бы в баке оставалась солярка, до пульта не дошло бы ни вольта. Кто-то позаботился об этом отдельно, без спешки, зная, где резать.

Бур постоял над пустым баком. Потом закрыл крышку, аккуратно, до щелчка, как будто от этого что-то зависело.

Рация лежала на пульте, там, где он ее оставил. Он взял ее, нажал тангенту и позвал Сыча. Рация ответила шипением. Он позвал Лопату, потом катер, потом снова Сыча, уже громче. Шипение не менялось. Бур положил рацию и заставил себя не трогать ее больше. Если человек зовет третий раз, значит, он уже знает ответ и просто не хочет его слышать.

Оставался селектор. Старый пульт, который он перебирал своими руками, питался не только от генератора. В углу подвала стоял ящик с аккумуляторами, Бур сам подключил их на всякий случай. Стрелка вольтметра на ящике стояла чуть выше середины. На громкую связь этого хватит на день, может, на два, если говорить коротко. Если болтать, не хватит и на день.

Он решил пока не говорить ничего.

По железной лестнице он поднялся в административный корпус, стараясь ступать бесшумно, хотя знал, что шуметь некому. Коридор первого этажа был пуст. Дверь в дежурку стояла открытой. На полу посреди дежурки лежала рация Сыча, вернее, то, что от нее осталось. Корпус был расколот, антенна вывернута, плата растоптана каблуком в зеленое крошево. Рядом

валялся окурок «Примы», затоптанный тем же каблуком. Бур присел на корточки и долго смотрел на этот окурок.

Наружная дверь корпуса была приоткрыта, и в щель тянуло морем. Бур подошел к ней сбоку, как учили на зоне подходить к любой двери, и выглянул. Двор администрации был пуст. Калитка в жилую зону стояла настежь, цепь висела на столбе. От склада через весь двор тянулась широкая полоса, где волокли мешки. Упиралась она в пустой причал. Катера не было. На серой воде у причала переливалось радужное пятно солярки.

Он закрыл дверь и задвинул засов. Сделал это раньше, чем успел подумать, так же, как когда-то на воле запирал за собой дверь кабинета. Потом поднялся на второй этаж и встал у окна, сбоку, за рамой.

Через несколько минут через открытую калитку в административный двор вошли двое. Первым шел мент, за ним Мох. Мент шел не торопясь, глядя под ноги, на полосу волока, и время от времени останавливался. У причала он постоял, потом присел и потрогал воду рукой. Потом пошел вдоль берега, разглядывая песок. Мох шел за ним на два шага позади, как ходил когда-то за Буром.

Потом они повернули к корпусу.

Бур отступил от окна в глубину комнаты. Внизу хлопнула о засов дверь, раз, другой. Мент стучал кулаком, тяжело, редко, с паузами. Так стучат в двери, за которыми кто-то есть и знает, что это стучат к нему.

— Эй, — сказал мент негромко, почти не повышая голоса. — Есть кто живой? Открывай, разговор есть.

Он подождал и постучал снова, так же редко и тяжело.

— Если кто есть, лучше открой сейчас, — сказал он все так же негромко. — Сейчас поговорим по-хорошему. Потом будет по-другому, я тебе обещаю.

Бур стоял не дыша. Сердце у него било в горло, и он чувствовал, как под бушлатом по спине течет пот. Десять лет он не боялся ни конвоя, ни кума, ни ножа в промзоне. А сейчас стоял за запертой дверью собственного корпуса и боялся, что мент услышит, как он дышит.

Этот стук он знал: так стучали опера в девяносто седьмом, в шесть утра, в дверь его квартиры. Он тогда открыл сам, потому что не привык прятаться. Сейчас он прятался, и от этого было хуже, чем от страха.

Мент постучал еще раз, потом обошел корпус, подергал решетки на окнах первого этажа и вернулся к Моху. Они постояли, что-то сказали друг другу, Бур не разобрал что. Мох поднял голову и посмотрел прямо на окно второго этажа, и Бур замер. Мох смотрел долго, щурясь от ветра, потом отвернулся. Мох, который возил его десять лет назад, который знал его походку, его кашель и его привычку стоять у окон сбоку. Мох, который первым дал против него показания. Бур подумал, что если кто наверху и узнает его по тени в окне, то именно Мох. Они ушли обратно через калитку. Бур выждал в глубине комнаты, прежде чем снова подойти к окну.

В подвале он сел на табурет перед мертвыми мониторами и первым делом, по зоновской привычке, проверил полку: на зоне дольше держится тот, кто знает, сколько у него осталось, а не тот, кто надеется. Банок стояло восемь, хотя вчера их было восемнадцать, это он знал точно, потому что из двадцати съел две и каждую отметил. Блока дорогих сигарет, подарка Илюхи, тоже не было.

Он вспомнил Сыча у пульта, ночью, руки в карманах, тот самый взгляд на тумблеры и на кабель, уходивший в стену. Теперь Бур знал, куда смотрел Сыч. Вспомнил и холщовую сумку у Сыча на плече, которую Бур тогда видел и на которую не обратил внимания. Пока Лопата говорил о деньгах и шторме, Сыч стоял у полки. Пока Бур раскладывал доллары, Сыч стоял у полки. Бур сидел к нему спиной.

Сыча он выбрал сам. Тот подошел к нему в курилке, без подсказки, без просьб, и Буру это понравилось. Значит, и ошибся он сам, винить тут было некого. Бур повторил это про себя

дважды, как повторяют приговор, чтобы запомнить. Мысль о том, что Сыча мог кто-то к нему подвести, пришла и ушла. Подвести к Буру человека на зоне было некому: там он сам решал, кого к себе подпускать.

Сумка с деньгами лежала под матрасом, где он ее оставил. Он вытащил ее и расстегнул. Денег было столько же, сколько вечером, ни пачкой меньше. Бур посмотрел на доллары, перетянутые аптечными резинками, и засмеялся. Смех вышел хриплый и короткий. Денег у него было больше, чем у всех девятерых наверху, вместе взятых. На эти деньги на острове нельзя было купить ни банки тушенки, ни литра солярки. Ни одного слова по рации. Странно было другое. Сумку, где денег оставалось больше, чем он отдал, не тронули, а склад вынесли подчистую, до последнего мешка сухарей, хотя на материке за эту тушенку никто не дал бы и бутылки. Бур решил, что сумку не взяли, потому что она лежала под ним, а склад вынесли полагерному, из жадности: что плохо лежит, то твое. Другого объяснения он искать не стал.

Потом смех кончился, и пришло другое. Сначала стало тяжело дышать. Воздух в подвале сделался густым, его приходилось проталкивать в грудь силой. Потом заколотилось сердце, часто и неровно, и вспотели ладони. Стены подвала подались к нему, низкий потолок опустился, и Бур почувствовал то, чего не чувствовал десять лет. Он почувствовал, что его заперли. Не конвой, не суд, не кум, а он сам, своими руками. На острове, откуда за все время никто не ушел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.